

Герцогиня Ланже

Оноре де Бальзак

Перевод Эллен Марридж

Примечание составителя:

«Герцогиня Ланже» — вторая часть трилогии. Первая часть называется «Феррагус», а третья — «Девушка с золотыми глазами». Эти три рассказа часто объединяют под названием «Тринадцать»

Францу Листу

ГЕРЦОГИНЯ ЛАНЖЕСКАЯ

В одном из испанских городов на острове в Средиземном море находится монастырь ордена босоногих кармелитов, где до сих пор сохраняется устав, установленный святой Терезой, со всей строгостью первых реформ, проведенных этой прославленной женщиной. Как бы это ни казалось невероятным, это тем не менее правда. Почти все религиозные учреждения на Пиренейском полуострове, да и в Европе в целом, были либо разрушены, либо дезорганизованы в результате Французской революции и наполеоновских войн; но поскольку этот остров в те времена был защищен английским флотом, его богатый монастырь и мирные жители были в безопасности от всеобщих беспорядков и грабежей. Бури различного рода, сотрясавшие первые пятнадцать лет XIX века, иссякли, прежде чем достигли этих скал, расположенных так недалеко от побережья Андалусии.

Если слухи об имени Императора и достигли берегов острова, то вряд ли святые женщины, преклонившие колени в монастырях, смогли постичь реальность его сказочного восхождения к славе или величье, которое пылало пламенем над королевством за королевством во время его стремительного восхождения.

В сознании католического мира монастырь занимал особое место благодаря строгой дисциплине, которая оставалась неизменной; чистота его устава привлекала несчастных женщин из самых отдаленных уголков Европы, женщин, лишенных всех человеческих связей, вздыхающих после долгого самоубийства, совершенного в душе Божьей. Действительно, ни один монастырь не был так хорошо приспособлен к полному отречению души от всего земного, которое требуется религиозной жизнью, хотя на европейском континенте существует множество монастырей, великолепно приспособленных к цели своего существования. Погребенные в самых уединенных долинах, парящие в воздухе на самых крутых склонах гор, расположенные на краю пропасти, везде человек искал поэзию бесконечности, торжественный трепет тишины; везде человек стремился приблизиться к Богу, ища его на горных вершинах, в глубинах под скалами, на краю обрыва; и везде человек находил Бога. Но нигде, кроме этого, наполовину европейского, наполовину африканского скалистого уступа, нельзя было найти столько разных гармоний, которые, сливаясь воедино, возвышали бы душу настолько, что даже самая острая боль становилась бы подобна другим воспоминаниям; самые сильные впечатления притуплялись, пока жизненные печали не успокаивались в глубине души.

Монастырь расположен на самой высокой точке скал на самом краю острова. Со стороны моря скала когда-то была отколота в результате какого-то глобального катаклизма; она поднимается прямой стеной от основания, где волны разъедают камень ниже отметки прилива. Любой шторм невозможен из-за опасных рифов, простирающихся далеко в море, по которым плещутся сверкающие волны Средиземного моря. Поэтому только с моря можно различить квадратную массу монастыря, построенного в соответствии со строгими правилами, установленными в

отношении формы, высоты, дверей и окон монастырских зданий. Со стороны города церковь полностью скрывает массивную структуру клуатров, и их крыши покрытые широкими каменными плитами, невосприимчивыми к солнцу, шторму или порывам ветра.

Сама церковь, построенная на щедрые средства испанской семьи, является венчающим зданием города. Ее изящный, величественный фасад придает маленькому приморскому городку внушительный и живописный вид. Вид такого города, с его плотно примыкающими друг к другу крышами, в основном, поражает. Возвышаясь над живописной гаванью в форме амфитеатра и увенчанный великолепным фасадом собора с тройными готическими арочными дверными проемами, колокольнями и филигранными шпилями, он представляет собой зрелище, несомненно, во всех отношениях самое возвышенное на земле. Религия, возвышающаяся над повседневной жизнью, постоянно напоминающая людям о Конце и Пути, — это поистине исконно испанское представление. Но теперь представьте себе Средиземное море и пылающее небо, несколько пальм тут и там, несколько низкорослых вечнозеленых деревьев, чьи колышущиеся листья смешиваются с неподвижными цветами и листвой, словно высеченной из камня; взгляните на риф с его белыми полосами пены, контрастирующими с сапфировым морем; а затем обратитесь к городу с его галереями и террасами, куда горожане приходят подышать свежим воздухом среди вечерних цветов, над домами и верхушками деревьев в своих маленьких садах; добавьте несколько парусов в гавани; и, наконец, в тишине спускающейся ночи, послушайте органную музыку, пение богослужений, чудесный звон колоколов над открытым морем. Повсюду царит звук и тишина; еще чаще тишина окутывает все вокруг.

Внутри церковь разделена на мрачный, таинственный неф и узкие боковые приделы. По какой-то причине, вероятно, из-за сильных ветров, архитектор не смог построить контрфорсы и промежуточные часовни, которые украшают почти все соборы, и в стенах, поддерживающих вес крыши, нет никаких проемов. Снаружи видна лишь массивная стена, сплошная масса серого камня, дополнительно укрепленная огромными опорами, расположенными через равные промежутки. Внутри неф и его небольшие боковые галереи полностью освещены большим витражным окном-розой, подвешенным на чудо искусства над центральным дверным проемом; с этой стороны открывается вид на ажурную каменную резьбу и другие красоты, свойственные стилю, который ошибочно называют готическим.

Большая часть нефа и боковых приделов была отведена для горожан, которые приходили и уходили, чтобы послушать там мессу. Хор был отгорожен от остальной части церкви решеткой и плотными складками коричневой занавеси, оставленными немного посередине таким образом, что из церкви ничего не было видно, кроме главного алтаря и священника, совершающего богослужение. Сама решетка была разделена колоннами, поддерживающими органную галерею; и эта часть конструкции с резными деревянными колоннами завершала линию аркады в галерее, поддерживаемой колоннами в нефе. Поэтому, если бы какой-нибудь любопытный осмелился забраться на узкую балюстраду в галерее, чтобы заглянуть в хор, он бы увидел только высокие восьмиугольные витражные окна за главным алтарем.

Во время французской экспедиции в Испанию с целью вновь возвести Фердинанда VII на трон, после взятия Кадиса на остров прибыл французский генерал, якобы для того, чтобы добиться признания королевской власти, но на самом деле — чтобы осмотреть монастырь и найти способ попасть в него. Предприятие, безусловно, было непростым; но человек с вспыльчивым характером, чья жизнь, так сказать, состояла из серии стихов в действии, человек, который всю свою жизнь жил романами, а не писал их, человек, в первую очередь, деятель, непременно поддался бы искушению совершить поступок, который казался невозможным.

Открыть двери монастыря законными средствами! Ни митрополит, ни Папа Римский вряд ли бы это допустили! А что касается силы или хитрости — разве любая неосторожность не могла стоить ему должности, всей военной карьеры и, вдобавок, намеченного конца? Герцог Ангулемский все еще находился в Испании; и из всех преступлений, которые мог совершить человек, пользующийся благосклонностью главнокомандующего, только это наверняка его и настигло. Неумолимый генерал запросил эту миссию, чтобы удовлетворить личные мотивы любопытства, хотя никогда еще любопытство не было столь безнадежным. Эта последняя попытка была вопросом совести. Кармелитский монастырь на острове был единственным женским монастырем в Испании, который не смог помочь ему в поисках.

Пересекая границу с материка, расстояние до которого едва достигало часа пути, он почувствовал предчувствие, что его надежды сбудутся; а позже, когда он еще не видел монастыря, кроме его стен, и монахинь — лишь их облачений, и слышал только пение во время службы, под стенами и в звуках голосов прозвучали смутные предзнаменования, подтверждающие его хрупкую надежду. И действительно, какими бы слабыми ни были эти необъяснимые предчувствия, никогда еще человеческие страсти не возбуждались так сильно, как любопытство генерала в тот момент. Для сердца нет мелочей; сердце все преувеличивает; сердце взвешивает падение четырнадцатилетней империи и падение женской перчатки на одних и тех же весах, и перчатка почти всегда оказывается тяжелее. Итак, вот факты во всей их прозаической простоте. Сначала факты, потом эмоции.

Через час после высадки генерала на остров королевская власть была восстановлена. Нескольким испанцам-конституционалистам, оказавшимся там после падения Кадиса, было разрешено зафрахтовать судно и отплыть в Лондон. Таким образом, не было ни сопротивления, ни реакции. Но смена власти не могла произойти в этом маленьком городке без мессы, на которой должны были присутствовать два подразделения под командованием генерала. Именно на этой мессе генерал возлагал надежды получить информацию о сестрах в монастыре; он совершенно не подозревал, насколько кармелиты были оторваны от мира; но он знал, что среди них может быть та, кого он ценит дороже жизни, дороже чести.

Его надежды были жестоко разрушены в тот же миг. Правда, месса была отслужена торжественно. В честь такой торжественности занавеси, всегда скрывавшие хор, были отдернуты, чтобы показать его богатства: ценные картины и алтари, столь сияющие драгоценными камнями, что затмевали великолепие золотых и серебряных предметов, развешанных моряками порта на колоннах в нефе. Но все монахини укрылись на

органной галерее. И все же, несмотря на эту первую задержку, во время этой самой благодарственной мессы перед ним широко развернулась самая захватывающая драма, которая когда-либо заставляла биться сердце человека.

Игра на органе вызвала такой бурный восторг, что ни один человек не пожалел о своем приходе. Даже рядовые были в восторге, а офицеры пребывали в экстазе. Что касается генерала, он казался спокойным и равнодушным. Ощущения, которые он испытывал, слушая, как сестра исполняет одну мелодию за другой, относятся к тому немногочисленному числу вещей, которые нельзя выразить словами; слова бессильны их передать; подобно смерти, Богу, вечности, они могут быть осознаны только через их единственную точку соприкосновения с человечеством. Как ни странно, органная музыка, казалось, принадлежала к школе Россини, музыканта, который вкладывает в свое искусство больше всего человеческих страстей.

Однажды его произведения, по своему количеству и масштабу, получают должное почитание, подобающее Гомеру от музыки. Из всех партитур, которые мы обязаны его великому гению, монахиня, кажется, выбрала Моисея в Египте для особого изучения, несомненно, потому что дух священной музыки находит там свое высшее выражение. Возможно, душа великого музыканта, столь славно известного Европе, и душа этого неизвестного исполнителя встретились в... Интуитивном восприятии той же поэзии. Так, по крайней мере, подумали два офицера-дилетанта, которые, должно быть, пропустили театр «Фавар» в Испании.

Наконец, в *Te Deum* никто не мог не заметить французскую душу во внезапной перемене музыки. Радость по случаю победы Христианнейшего Короля, очевидно, глубоко тронула сердце этой монахини. Она была француженкой, и это было несомненно. Вскоре любовь к родине засияла, вырываясь, словно лучи света из фуги, когда сестра ввела вариации со всем изысканным парижским вкусом и смешала с музыкой смутные намеки на наши самые величественные национальные мелодии. Испанские пальцы не смогли бы передать эту теплоту в изящном посвящении победоносному оружию Франции. Национальность музыканта была раскрыта.

«Кажется, Францию мы находим повсюду», — сказал один из мужчин.

Генерал покинул церковь во время исполнения *Te Deum*; он больше не мог слушать. Музыка монахини стала откровением о женщине, которую он любил до безумия; женщине, так тщательно скрытой от глаз мира, так глубоко погребенной в лоне Церкви, что до сих пор самые изобретательные и настойчивые усилия людей, обладавших большим влиянием и необычайными полномочиями для ее поиска, не принесли результата. Подозрение, пробудившееся в сердце Генерала, почти стало реальностью с примесью смутного воспоминания о печальной, восхитительной мелодии, арии «Тернового дня». Женщина, которую он любил, играла прелюдию к балладе в парижском будуаре, как часто! И теперь эта монахиня выбрала эту песню, чтобы выразить тоску изгнанника среди радости тех, кто одержал победу. Ужасное ощущение! Надеяться на возрождение утраченной любви, найти её и узнать, что она потеряна, мельком увидеть её спустя пять лет — пять лет, в течение которых сдерживаемая страсть, тяготеющая пустой жизнью, становилась всё сильнее от каждой тщетной попытки её удовлетворить!

Кто хотя бы раз в жизни не знал, что значит потерять что-то драгоценное; и после того, как перерыл все свои бумаги, перерыл память и перевернул весь дом вверх дном; после одного-двух дней, проведенных в тщетных поисках, надежде и отчаянии; после огромных затрат душевного напряжения, кто не познал неопишуемого удовольствия от обнаружения той самой важной ничтожной вещи, которая стала королем мономании? Очень хорошо. Теперь распределите эту ярость поисков на пять лет; поставьте женщину, поставьте сердце, поставьте любовь на место пустяка; переведите мономанию в тональность высокой страсти; и, кроме того, пусть ищущий будет человеком пылкого нрава, с львиным сердцем, львиной головой и гривой, человеком, внушающим благоговение и страх тем, кто с ним соприкасается — осознайте это, и вы, возможно, поймете, почему генерал резко вышел из церкви, когда первые ноты баллады, которую он обычно слушал с восторгом в позолоченном будуаре, начали разноситься по проходам церкви в море.

Генерал спустился по крутой улице, ведущей к порту, и остановился лишь тогда, когда перестал слышать низкие ноты органа. Не в силах думать ни о чем, кроме любви, которая вспыхнула вулканическим извержением, наполнив его сердце огнем, он понял, что *Te Deum* закончился, только когда испанская паства хлынула из церкви.

Почувствовав, что его поведение и поступки могут показаться нелепыми, он вернулся, чтобы возглавить процессию, сообщив алькальду и губернатору, что, внезапно почувствовав слабость, вышел на улицу. Пытаясь найти повод продлить свое пребывание, он тут же решил воспользоваться этим спонтанным предложением. Под предложением усиливающегося недоумения он отказался председательствовать на банкете, устроенном городом в честь французов.

Офицер, улегшись в постель, отправил генерал-майору сообщение о том, что временная болезнь вынуждает его оставить полковника командовать войсками на время. Эта банальная, но весьма правдоподобная уловка освободила его от всякой ответственности за время, необходимое для осуществления его планов. Генерал, будучи, безусловно, «католиком и монархистом», воспользовался случаем, чтобы узнать расписание богослужений, и проявил величайшее рвение в исполнении своих религиозных обязанностей, благочестие, которое не вызвало никаких замечаний в Испании.

На следующий же день, когда дивизия выходила из города, генерал отправился в монастырь, чтобы присутствовать на вечерней службе. Он обнаружил пустую церковь. Горожане, несмотря на свою набожность, все спустились к пристани, чтобы наблюдать за погрузкой войск. Он был рад, что остался там один. Он шумно шагнул вверх по нефу, цокая шпорами, пока сводчатый потолок не огласился звуком; он кашлял, говорил вслух сам с собой, чтобы дать понять монахиням, и особенно органисту, что если войска ушли, то один француз останется. Было ли это необычное предупреждение услышано и понято? Он так думал. Ему казалось, что в «Магнификате» орган откликнулся, и эта музыка передалась ему через вибрирующий воздух. Дух монахини обрел крылья в музыке и устремился к нему, пульсируя в ритмичном ритме звуков. Затем, во всей своей мощи, музыка вырвалась наружу и наполнила церковь теплом. Песнь радости, выделенная в возвышенной литургии латинского христианства для

выражения возвышения души в присутствии славы вечноживущего Бога, стала выражением сердца, почти охваченного ужасом от своей радости в присутствии славы смертной любви; Любовь, которая еще жила, любовь, которая возродилась, чтобы тревожить ее даже за пределами могилы, в которой похоронена монахиня, чтобы она могла воскреснуть как невеста Христа.

Орган, по правде говоря, — самый величественный, самый смелый, самый великолепный из всех инструментов, изобретенных человеческим гением. Это целый оркестр сам по себе. Он способен выразить что угодно в ответ на умелое прикосновение. Несомненно, это своего рода пьедестал, на котором душа готовится к полету в космос, пытаясь на своем пути нарисовать картину за картиной в бесконечной серии, изобразить человеческую жизнь, пересечь Бесконечность, отделяющую небо от земли? И чем дольше мечтатель слушает эти гигантские гармонии, тем лучше он понимает, что ничто, кроме этого, стоголосого хора на земле, не может заполнить все пространство между коленопреклоненными людьми и Богом, скрытым ослепительным светом Святилища. Музыка — единственный исполнитель, достаточно сильный, чтобы выдержать молитвы человечества к небесам, молитву в её всемогущих настроениях, молитву, окрашенную меланхолией самых разных натур, раскрашенную медитативным экстазом, порожденную порывом покаяния — смешанную с бесчисленными фантазиями каждого вероисповедания. Да, в этих длинных сводчатых проходах мелодии, вдохновленные ощущением божественного, сливаются с невиданным ранее величием, украшаются новой славой и могуществом. Из тусклого дневного света и глубокой тишины, нарушаемой пением хора в ответ на грохот органа, сплетается завеса для Бога, и сквозь неё сияет яркость его атрибутов.

И это богатство святынь, казалось, было низвергнуто, словно пестик, на хрупкий алтарь, воздвигнутый во славу любви под вечным престолом ревнивого и мстительного Бога. Действительно, в радости монахини было мало того благоговения и серьезности, которые должны были бы гармонировать с торжественностью Магнификата. Она обогатила музыку изящными вариациями, земная радость пульсировала в ритме каждой из них. В таких блестящих, дрожащих нотах какая-нибудь великая певица могла бы попытаться найти голос для своей любви, своей Мелодии порхали, как птица, порхающая вокруг своего возлюбленного. Бывали моменты, когда казалось, что она переносится в прошлое, то смеясь, то плача. Ее переменчивое настроение, можно сказать, бушевало. Она была похожа на женщину, взволнованную и счастливую возвращением своего возлюбленного.

Но наконец, после колеблющихся фуг бреда, после чудесного пересказа видения прошлого, отвращение охватило душу, которая таким образом обрела самовыражение. Быстрым переходом от мажора к минору органистка рассказала слушателю о своей нынешней участи. Она поведала историю долгих меланхолических раздумий, медленного течения своей моральной немоги. Как день за днем она притупляла чувства, как каждую ночь отрывала еще одну мысль, как ее сердце медленно превращалось в пепел. Печаль сгущалась тень за тенью через томные модуляции, и вскоре эхо обрушилось потоком скорби. Затем внезапно раздались высокие ноты, словно голоса ангелов, поющих вместе, как бы говоря потерянному, но не забытому возлюбленному, что их души теперь могут встретиться только на небесах. Жалкая

надежда! Затем последовало «Аминь». Больше нет радости, нет слез в воздухе, нет печали, нет сожалений. «Аминь» означало возвращение к Богу. Финальный аккорд был глубоким, торжественным, даже ужасающим; последние раскаты баса вызвали дрожь в зале, от которой волосы встали дыбом; монахиня отряхнула свою креповую вуаль и, казалось, снова погрузилась в могилу, из которой на мгновение поднялась. Постепенно отголоски затихли; казалось, будто церковь, теперь такая полная света, снова погрузилась в густую тьму.

Генерал был подхвачен и стремительно унесен этим могучим духом; он следил за его полетом от начала до конца. Он в полной мере понимал образность этой пылающей симфонии; для него аккорды тянулись глубоко и далеко. Для него, как и для сестры, поэма означала будущее, настоящее и прошлое. Разве музыка, и даже оперная музыка, не является своего рода текстом, который восприимчивый или поэтический темперамент, или израненное и пораженное сердце, могут расширить по мере того, как определяют воспоминания? Если музыканту необходимо иметь сердце поэта, разве слушатель тоже не должен быть в некотором роде поэтом и влюбленным, чтобы слышать все, что заключено в великой музыке? Религия, любовь и музыка — что они, как не тройственное выражение одного и того же факта, той жажды расширения, которая пробуждается в каждой благородной душе. И эти три формы поэзии восходят к Богу, в котором всякая страсть на земле находит свой конец. Поэтому святая человеческая Троица находит место среди бесконечной славы Божьей; Бог, которого мы всегда представляем, окруженный огнем любви и золотыми систрами — музыкой, светом и гармонией. Разве он не является причиной и целью всех наших стремлений? Внутри церковь разделена

Французский генерал справедливо догадался, что здесь, в пустыне, на этом голом камне посреди моря, монахиня обратилась к музыке как к излианию страсти, которая все еще поглощала ее. Так ли она приносила свою любовь в жертву Богу? Или это была любовь, ликующая в триумфе над Богом? На эти вопросы было трудно ответить. Но в одном генерал не мог ошибиться — в этом сердце, отрешенном от мира, пламя страсти горело так же яростно, как и в его собственном.

Вечерня закончилась, и он вернулся к алькальду, у которого остановился. Во всепоглощающей радости, которая приходит в полной мере, когда долго и мучительно достигнутое удовлетворение наконец обретается, он не мог видеть ничего за пределами этого — его все еще любили! В ее сердце любовь росла в одиночестве, так же, как и его любовь становилась сильнее, когда он преодолевал одну преграду за другой, которые эта женщина поставила между ними! Сияние души пришло до своего естественного конца. Затем последовало томительное желание увидеть ее снова, побороться за нее с Богом, забрать ее — опрометчивый план, который апеллировал к смелой натуре. После еды он лег спать, чтобы избежать вопросов; чтобы побыть одному и спокойно подумать; и лежал, погруженный в глубокие размышления, до самого рассвета.

Он встал только для того, чтобы пойти на мессу. Он пришел в церковь и опустился на колени рядом с ширмой, коснувшись лбом занавеса; если бы он был один, он бы прорвал его насквозь, но хозяин пришел с ним из вежливости, и малейшая

неосторожность могла поставить под угрозу все будущее его любви и разрушить новые надежды.

Зазвучал орган, но на клавиши коснулись руки другого музыканта, а не той монахини, которую он слушал последние два дня. Для генерала все было бесцветным и холодным. Неужели любимая им женщина была сломлена чувством, которое едва не сломило сердце сильного мужчины? Неужели она настолько полно осознала и разделила неизменную, желанную любовь, что теперь умирает на своей кровати в келье? Пока бесчисленные подобные мысли терзали его разум, рядом с ним раздавался голос женщины, которой он поклонялся; он знал его чистый, резонансный сопрано. Это был ее голос, с той легкой дрожью, которая придавала ему все очарование, которое робость и застенчивость дарят юной девушке; ее голос, отличающийся от бремени пения примадонны в хоре финала. Он был подобен золотой или серебряной нити в темном фризе.

Это была она! Не могло быть никаких сомнений. Парижанка, как всегда, она не отказалась от кокетства, сбросив мирские украшения ради вуали и грубой кармелитской саржи. Та, которая вчера вечером подтвердила свою любовь в хвале, вознесенной к Богу, теперь, казалось, говорила своему возлюбленному: «Да, это я. Я здесь. Моя любовь неизменна, но я вне досягаемости любви. Ты услышишь мой голос, моя душа окутает тебя, и я буду пребывать здесь, под коричневым саваном, в хоре, из которого никакая сила на земле не сможет меня вырвать».

«Вы меня больше никогда не увидите!»

«Вот она!» — подумал генерал, поднимая голову. Он уткнулся лицом в руки, поначалу не в силах вынести невыносимое волнение, которое, словно водоворот, захлестнуло его сердце, когда под аркадой раздался знакомый голос, сопровождаемый шумом моря.

Снаружи бушевала буря, а внутри святилища царило спокойствие. И всё же этот богатый голос изливал свои ласковые ноты; он падал, словно бальзам, на пылающее сердце влюблённого; он расцветал в воздухе — в воздухе, который человек хотел бы вдохнуть глубже, чтобы впитать излияние души, наполненной любовью в словах молитвы. Алькальд, пришедший присоединиться к своему гостю, застал его в слезах во время вознесения, когда монахиня пела, и отвёл его обратно в свой дом. Удивлённый такой набожностью французского военного, достойный магистрат пригласил духовника монастыря встретиться со своим гостем. Никогда ещё эта новость не доставляла генералу столько удовольствия; он уделил священнику немало внимания за ужином и укрепил в своих испанских хозяевах высокое мнение о его набожности, проявив не совсем бескорыстное уважение.

Он серьезно поинтересовался, сколько сестер в монастыре, и попросил предоставить сведения о его материальном обеспечении и доходах, словно из вежливости желая выслушать проповедь доброго священника на интересующую его тему. Он также узнал об образе жизни святых женщин. Разрешалось ли им выходить за пределы монастыря или нет.

Видите посетителей?

«Сеньор, — ответил почтенный церковник, — правило строгое. Женщина не может вступить в монастырь ордена святого Бруно без специального разрешения Его Святейшества, и здесь правило столь же строгое. Ни один мужчина не может вступить в монастырь босоногих кармелитов, если он не является священником, специально назначенным архиепископом для служения в этом монастыре». Никто из монахинь не может покидать монастырь; хотя великая святая Тереза часто выходила из своей кельи. Только посетитель или настоятельница могут дать разрешение монахине на встречу с посетителем, при условии получения разрешения от архиепископа, особенно в случае болезни. Сейчас мы являемся одним из главных монастырей, и поэтому у нас есть настоятельница. Среди других иностранных сестер есть одна француженка, сестра Тереза; именно она руководит музыкальным сопровождением в часовне.

«О!» — воскликнул генерал с притворным удивлением. — «Должно быть, она радовалась победе!» из Дома Бурбонов.

«Я объяснил им причину проведения мессы; они всегда немного любопытны».

«Но у сестры Терезы могут быть интересы во Франции. Возможно, она хотела бы передать какое-нибудь сообщение или узнать новости». «Я так не думаю. Она бы пришла и спросила меня».

«Как соотечественник, я был бы весьма любопытен увидеть её», — сказал генерал. «Если это возможно, если госпожа настоятельница даст согласие, если...»

«Даже у решетки и в присутствии Преподобной Матери беседа была бы совершенно невозможна для кого бы то ни было; но, какой бы строгой ни была Мать, для спасительницы нашей святой религии и обладательницы престола Его Католического Величества это правило можно было бы на мгновение смягчить», — сказал исповедник, моргая. «Я поговорю об этом».

«Сколько лет сестре Терезе?» — спросил любовник. Он не осмелился задать ей ни одного вопроса. священник о красоте монахини.

«Она уже и не считает годы», — ответил добрый человек с такой простотой, что это заставило его задуматься. Генерал вздрогнул.

На следующий день, перед сиестой, духовник пришел сообщить французскому генералу, что сестра Тереза и настоятельница согласились принять его у решетки в гостиной перед вечерней службой. Генерал провел сиесту, расхаживая взад и вперед по набережной в полуденную жару. Туда пришел священник и привел его в монастырь через галерею вокруг кладбища. Фонтаны, зеленые деревья и ряды арок поддерживали прохладную свежесть, соответствующую атмосфере этого места.

В дальнем конце длинной галереи священник проводил в большую комнату, разделенную на две части решеткой, закрытой коричневой занавеской. В первой, своего рода общественной половине помещения, где исповедник оставлял новоприбывшего, вдоль стены тянулась деревянная скамья, а у решетки стояли два или три стула, также деревянные. Потолок состоял из голых, не украшенных балок и поперечных брусьев из древесины илекса. Поскольку оба окна находились с внутренней стороны решетки, а темная поверхность дерева плохо отражала свет, свет в

помещении был настолько тусклым, что едва можно было разглядеть большой черный крест, портрет святой Терезы и изображение Мадонны, украшавшие комнату.

Серые стены гостиной. Как бы ни были бурны чувства генерала, они отчасти перекликались с меланхолией этого места. В этой домашней тишине он успокоился. Ощущение чего-то огромного, словно гробница, овладело им под холодным потолком без потолка. Здесь, как и в могиле, разве не было вечной тишины, глубокого покоя — ощущения Бесконечности? И помимо этого, была тишина и навязчивая мысль монастыря — мысль, которую ощущаешь как едва уловимое присутствие в воздухе и в полумраке комнаты; всепроникающая мысль, нигде не выраженная определенно, но тем более величественная в воображении; ибо в монастыре великое изречение: «Мир Господень», входит в самую нерелигиозную душу как живая сила.

Жизнь монаха трудно понять. В монастыре человек кажется слабаком; он рожден для действия, для жизни, посвященной труду; в своей келье он избегает предназначения. Но какая же сила мужчины, смешанная с жалкой слабостью, подразумевается выбором женщиной монастырской жизни! У мужчины может быть множество мотивов для того, чтобы уединиться в монастыре; для него это прыжок через пропасть. У женщины же только один мотив — она все еще женщина; она обручается с Небесным Женихом. Вы можете спросить монаха: «Почему ты не сражался?» Но если женщина замыкается в монастыре, разве не всегда сначала ведется какая-то возвышенная битва?

В конце концов генералу показалось, что эта тихая комната и одинокий монастырь посреди моря полны мыслей о нем. Любовь редко достигает торжественности; и все же любовь, верная в сердце Бога, несомненно, была чем-то торжественным, чем-то большим, чем человек мог ожидать в условиях девятнадцатого века? Бесконечное величие ситуации вполне могло повлиять на разум генерала; у него было ровно столько душевного возвышения, чтобы забыть о политике, почестях, Испании и парижском обществе и подняться на вершину этой возвышенной кульминации. И что, по правде говоря, может быть трагичнее? Сколько же должно было произойти в душах этих двух влюбленных, сведенных вместе в месте, полном незнакомцев, на гранитном выступе посреди моря; но разделенных неосязаемой, непреодолимой преградой! Попробуйте представить себе, как человек говорит про себя: «Неужели я восторжествую над Богом в ее сердце?», когда слабый шорох заставил его вздрогнуть, и занавес отдернулся.

Между ним и светом стояла женщина. Ее лицо было скрыто вуалью, свисавшей из складок на голове; она была одета по правилам ордена в платье цвета, ставшего общеизвестным. Ее босые ноги были скрыты; если бы генерал мог их увидеть, он бы понял, как ужасно она похудела; и все же, несмотря на толстые складки ее грубого платья, всего лишь прикрытия, а не украшения, он мог догадаться, как слезы, молитвы, страсти и одиночество истощили женщину перед ним.

Ледяная рука, несомненно, принадлежавшая настоятельнице, отдернула занавес. Генерал бросил принудительный взгляд на вынужденную свидетельницу допроса и встретил темный, непроницаемый взгляд пожилой отшельницы. Матери, возможно,

было лет сто, но ее яркие, юношеские глаза скрывали морщины, изборожденные бледным лицом.

«Мадам герцогиня, — начал он дрожащим от волнения голосом, — ваша спутница?» «Понимаешь французский?» — спросила она. Закутанная в вуаль фигура склонила голову, услышав его голос.

«Здесь нет никакой герцогини, — ответила она. — Перед вами сестра Тереза». «Та, которую вы называете моей спутницей, — моя мать в Боге, моя начальница здесь, на земле».

Эти слова были произнесены с такой кротостью голоса, который в другие годы звучал в гармоничной обстановке изысканной роскоши, голосом королевы моды в Париже.

Слова, слетевшие с губ, которые когда-то звучали так легкомысленно и небрежно, повергли генерала в изумление.

«Святая Матерь говорит только на латыни и испанском языке», — добавила она.

«Я ни того, ни другого не понимаю. Дорогая Антуанетта, передай ей мои извинения».

Свет ярко осветил фигуру монахини; трепет глубоких эмоций выдал легкое дрожание ее вуали, когда она услышала тихое имя, произнесенное мужчиной, который раньше был так суров.

«Мой брат», — сказала она, оттягивая рукав под вуаль, возможно, чтобы вытереть слезы. «Я сестра Тереза».

Затем, повернувшись к начальнику, она заговорила по-испански; генерал достаточно хорошо знал язык, чтобы прекрасно понять, что она сказала; возможно, он мог бы и сам говорить на нем, если бы захотел.

«Дорогая мама, этот джентльмен выражает вам свое почтение и просит прощения, если он не может сказать сам, но он не знает ни одного из языков, на которых вы говорите». —»

Пожилая монахиня медленно склонила голову, на ее лице читалась ангельская нежность, усиленная одновременно осознанием ее силы и достоинства.

«Вы знаете этого джентльмена?» — спросила она, пристально глядя на него.

«Да, мама».

«Возвращайся в свою камеру, дочь моя!» — властно сказала мать.

Генерал отодвинулся за занавеску, опасаясь, что ужасный смятение внутри него отразится на его лице; даже в тени ему казалось, что он все еще видит пронзительный взгляд настоятельницы. Он боялся ее; она держала в своих руках его маленькое, хрупкое, едва завоеванное счастье; а он, никогда не дрогнувший под тройным орудийным строем, теперь дрожал перед этой монахиней. Герцогиня направилась к двери, но обернулась.

«Мама, — сказала она с ужасающим спокойствием, — этот француз — один из моих братьев».

«Тогда останься, дочь моя», — сказал настоятель после небольшой паузы. Этот замечательный пример иезуитского богословия рассказывал о такой любви и сожалении, что человек менее крепкого телосложения мог бы сломаться под пылким восторгом посреди великой и, для него, совершенно новой опасности. О! Как драгоценны стали слова, взгляды и жесты, когда любовь должна была ошеломить глаза рыси и когти тигра! Сестра Тереза вернулась.

«Видишь, брат мой, на что я осмелился, лишь на мгновение заговорив с тобой о твоём спасении и о молитвах, которые моя душа ежедневно возносит за твою душу. Я совершаю смертный грех. Я солгал. Сколько дней покаяния должно искупить эту ложь! Но я вынесу это ради тебя. Брат мой, ты не знаешь, какое счастье любить на небесах; чувствовать, что ты можешь исповедовать любовь, очищенную религией, любовь, вознесенную на высочайшие вершины, так что нам позволено упускать из виду все, кроме души. Если бы учение и дух Святого, которому мы обязаны этим убежищем, не вознесли меня над земными страданиями, не подняли меня и не поставили меня далеко ниже Сферы, в которой она обитает, но все же выше этого мира, я бы больше тебя не увидела. Но теперь я вижу

«Услышь свой голос и сохраняй спокойствие...»

Генерал вмешался: «Но, Антуанетта, позволь мне увидеть тебя, ту, которую я страстно люблю...» отчаянно, так, как ты могла бы желать, чтобы я тебя любил».

«Умоляю вас, не называйте меня Антуанеттой. Воспоминания о прошлом причиняют мне боль. Вы не должны видеть здесь никого, кроме сестры Терезы, существо, которое уповает на Божественную милость». Она немного помолчала, а затем добавила: «Вы должны сдержаться, мой брат. Наша Мать разлучила бы нас безжалостно, если бы на вашем лице были хоть какие-то мирские страсти или если бы вы позволили слезам течь из ваших глаз».

Генерал склонил голову, чтобы взять себя в руки; подняв взгляд, он увидел за решеткой ее лицо — худое, белое, но все еще страстное лицо монахини. Все волшебное очарование юности, некогда расцветавшее в ней, весь прекрасный контраст бархатной белизны и цвета бенгальской розы, уступили место пылающему сиянию, словно фарфоровый сосуд, сквозь который пробивается слабый свет. Чудесные волосы, которыми она так гордилась, были выбриты; на лбу и лице была повязка. Аскетическая жизнь оставила темные следы вокруг глаз, которые все еще иногда бросали лихорадочные взгляды; их обычное спокойное выражение было лишь вуалью. В двух словах, она была лишь призраком своего прежнего «я».

«Ах! Ты, ставшая моей жизнью, должна выйти из этой гробницы! Ты была моей; ты не имела права отдавать себя даже Богу. Разве ты не обещала мне отказаться от всего по моему малейшему повелению? Возможно, теперь, услышав о том, что я сделал для тебя, ты сочтешь меня достойным этого обещания. Я искал тебя по всему миру. Ты была в моих мыслях каждую минуту на протяжении пяти лет; моя жизнь была отдана тебе».

Мои друзья, очень влиятельные друзья, как вы знаете, изо всех сил старались обыскать каждый монастырь во Франции, Италии, Испании, Сицилии и Америке.

Любовь разгоралась ярче с каждой тщетной попыткой. Снова и снова я совершал долгие путешествия с ложной надеждой; я растратил свою жизнь и самые тяжелые толчки своего сердца напрасно под многими темными монастырскими стенами. Я говорю не о безграничной верности, ибо что это такое? — ничто по сравнению с бесконечными стремлениями моей любви. Если ваше раскаяние давным-давно было искренним, вам не следует колебаться, следуя за мной сегодня».

«Вы забываете, что я не свободена».

«Герцог умер», — быстро ответил он.

Сестра Тереза покраснела.

«Да откроется ему небеса!» — воскликнула она, внезапно охваченная сильным чувством. «Он был щедр ко мне. — Но я не имела в виду таких уз; одним из моих грехов было то, что я была готова разорвать их все без угрызений совести — ради тебя».

— Вы говорите о своих обетах? — спросил генерал, нахмурившись. — Я не думал, что, что-либо может быть тяжелее для вашего сердца, чем любовь. Но не задумывайтесь об этом, Антуанетта; сам Святой Отец освободит вас от вашей клятвы. Я непременно поеду в Рим, я буду молить все силы земли; если бы Бог мог сойти с небес, я бы... —

«Не богохульствуйте».

«Поэтому не бойся гнева Божьего. Ах! Я бы гораздо больше хотел услышать, что ты покинешь свою темницу ради меня; что в эту же ночь ты спустишься в лодку у подножия скал. И мы уйдем, чтобы обрести счастье где-нибудь на краю света, я не знаю где. И со мной рядом ты вернешься к жизни и здоровье под крыльями любви».

«Так говорить нельзя», — сказала сестра Тереза; «Ты не знаешь, кем ты теперь для меня являешься. Я люблю тебя гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Каждый день я молюсь за тебя; я смотрю на тебя другими глазами. Арман, если бы ты только знал счастье отдать себя без стыда чистой дружбе, за которой наблюдает Бог! Ты не знаешь, какая радость для меня молиться о небесном благословении для тебя. Я никогда не молюсь за себя: Бог поступит со мной по Своей воле; но ценой своей души я хотела бы быть уверена, что ты счастлив здесь, на земле, и что ты будешь счастлив в будущем, во все века. Моя вечная жизнь — это все, что осталось мне от скорби, чтобы предложить тебе. Я стара, плачу; я не молода и не прекрасна; и в любом случае, ты не мог бы уважать монахиню, ставшую женой; никакая любовь, даже материнство, не могла бы дать мне отпущения грехов... Что ты можешь сказать, чтобы перевесить бесчисленные мысли, которые накопились в моем сердце за последние пять лет, мысли, которые изменили, измотали и испортили его? «Надо было бы отдать Богу сердце, менее скорбящее».

«Что я могу сказать? Дорогая Антуанетта, скажу лишь одно: я люблю тебя; эта привязанность, любовь, великая любовь, радость жизни в другом сердце, которое принадлежит нам всем, целиком и полностью, — это такая редкость и такое трудное чувство, что я сомневался в тебе и подвергал тебя суровому испытанию; но теперь,

сегодня, я люблю тебя, Антуанетта, всей душой... Если ты последуешь за мной в уединение, я не услышу ни одного твоего голоса, я не увижу другого лица».

«Тише, Арманд! Ты сокращаешь то небольшое время, которое мы можем провести вместе здесь, на земле».

«Антуанетта, ты пойдешь со мной?»

«Я никогда не покидаю тебя. Моя жизнь в твоём сердце, не через эгоистичные узы земного счастья, тщеславия или наслаждения; бледная и иссохшая, я живу здесь ради тебя, в груди Божьей. Поскольку Бог справедлив, ты будешь счастлив...»

«Слова, слова, всё это! Бледная и иссохшая? А что, если я хочу тебя? Что, если я не могу быть счастлив без тебя? Неужели ты всё ещё думаешь только о долге перед своим возлюбленным? Неужели он никогда не будет для тебя на первом месте и превыше всего остального? В прошлом ты ставила социальный успех, себя, бог знает что, выше него; теперь же это Бог, это благополучие моей души! В сестре Терезе я снова нахожу герцогиню, невежественную в отношении счастья любви, бесчувственную, как всегда, под видом здравомыслия. Ты не любишь меня; ты никогда не любила меня...»

«О, мой брат!»

«Ты не хочешь покинуть эту гробницу. Ты любишь мою душу, говоришь? Что ж, через тебя она будет потеряна навсегда. Я сам себя уничтожу...»

«Мама!» — громко воскликнула сестра Тереза по-испански. — «Я солгала тебе; этот мужчина — мой любовник!»

Занавес тотчас же опустился. Генерал, пребывая в оцепенении, едва слышал, как захлопнулись двери внутри.

Они звенели.

«Ах! Она всё ещё любит меня!» — воскликнул он, понимая всю возвышенность её крика. «Она всё ещё меня любит. Её нужно увести...»

Генерал покинул остров, вернулся в штаб, сослался на плохое самочувствие и попросил отпуск. Он отсутствовал и тотчас же отправился во Францию.

А теперь перейдём к событиям, которые свели двух персонажей этой сцены вместе. нынешние отношения друг с другом.

То, что во Франции известно как Фобур Сен-Жермен, не является ни кварталом, ни сектой, ни учреждением, ни чем-либо ещё, что допускает точное определение. На площади Рояль, в Фобур Сен-Оноре и на Шоссе д'Антен расположены великолепные дома, в любом из которых вы можете ощутить ту же атмосферу, что и в Фобур Сен-Жермен. Итак, начнем с того, что не весь Фобур находится внутри самого Фобура. Есть мужчины и женщины, рожденные достаточно далеко от его влияния, которые откликаются на него и занимают свое место в этом кругу; и есть другие, рожденные в его пределах, которые могут быть навсегда изгнаны. В течение последних сорока лет манеры, обычаи и речь, одним словом, традиция Фобура Сен-Жермен, были для Парижа тем же, чем был двор в другие времена; тем же, чем был отель Сен-Поль для четырнадцатого века; Лувр для пятнадцатого; Пале, отель Рамбуйе и площадь Рояль

для шестнадцатого; и, наконец, тем же, чем был Версаль для семнадцатого и восемнадцатого веков.

Подобно тому, как обычный повседневный Париж всегда сосредоточен вокруг какой-то точки, так и Париж знати и высших классов на протяжении всей истории сходится к определенному месту. Это периодически повторяющееся явление, предоставляющее ample материал для размышлений тем, кто хочет наблюдать или описывать различные социальные зоны; и, возможно, исследование причин, приводящих к этой централизации, может не просто оправдать вероятность этого эпизода, но и послужить серьезным интересам, которые когда-нибудь будут глубже укоренены в государстве, если, конечно, опыт не так же бессмысленен для политических партий, как и для молодежи.

В каждую эпоху знатные дворяне и богатые, всегда подражающие им, строили свои дома как можно дальше от переполненных улиц. Когда герцог д'Юзес построил свой великолепный отель на улице Монмартр во времена Людовика XIV и установил фонтан у своих ворот — за этот благочестивый поступок, не говоря уже о других его добродетелях, он пользовался таким почтением, что весь квартал собрался на его похороны, — когда герцог, говорю я, выбрал это место для своего дома, он сделал это потому, что эта часть Парижа в те дни была почти пустынна. Но когда укрепления были снесены, а огороды за линией бульваров начали заполняться домами, тогда семья д'Юзес покинула свой прекрасный особняк, и в наше время его занял банкир. Позже знать начала чувствовать себя не в своей стихии среди лавочников, навсегда покинула площадь Рояль и центр Парижа и переехала через реку, чтобы свободно дышать в Фобур-Сен-Жермен, где уже вокруг большого отеля, построенного Людовиком XIV для герцога де Мена — Бенджамина, среди его законных потомков, — возводились дворцы. И действительно, для людей, привыкших к величественной жизни, может ли быть более неприглядное окружение, чем суета, грязь, уличные крики, неприятные запахи и узкие переулки многолюдного квартала? Сами привычки жизни в торговом или промышленном районе... Жизнь лавочника и ремесленника совершенно не совпадает с жизнью знати. Лавочник и ремесленник как раз ложатся спать, когда весь мир думает об обеде; а шумная суета начинается у первых, когда вторые уже отдохнули. Их дневные расчеты никогда не совпадают; один класс представляет расходы, другой — доходы. Следовательно, их нравы и обычаи диаметрально противоположны.

В этом утверждении нет ничего презрительного. Аристократия в некотором смысле является интеллектуалом социальной системы, тогда как средний класс и пролетариат можно считать ее организующей и рабочей силой. Естественно, из этого следует, что эти силы находятся в различном положении; и из их антагонизма рождается кажущаяся антипатия, обусловленная выполнением различных функций, однако все они существуют для достижения одной общей цели.

Подобные социальные диссонансы настолько неизбежны следствием любой конституции, что, как бы либерал ни был склонен жаловаться на них, как на измену тем возвышенным идеям, которыми амбициозный плебей склонен прикрывать свои замыслы, он все равно сочтет нелепой мысль о том, что, например, господин принц де

Монморанси должен продолжать жить на улице Сен-Мартен, на углу улицы, носящей имя этого дворянина; или что господин герцог де Фиц-Джеймс, потомок королевского дома Шотландии, должен иметь свой отель на пересечении улиц Мари Стюарт и Монторгей. «Sint ut sunt, aut non sint» — величественные слова иезуита — могли бы стать девизом для великих людей во всех странах. Эти социальные различия очевидны во все времена; этот факт всегда принимается народом; его «государственные причины» самоочевидны; Это одновременно причина и следствие, принцип и закон. Здравый смысл масс никогда не покидает их, пока демагоги не подстрекают их к достижению собственных целей; этот здравый смысл основан на истинах общественного порядка; а общественный порядок одинаков повсюду, в Москве и Лондоне, в Женеве и Калькутте. Если в любом данном пространстве находится определенное количество семей с неравным достатком, вы увидите, как на ваших глазах формируется аристократия; будут патриции, высшие классы, и еще другие слои населения ниже них. Равенство может быть правом, но никакая сила на земле не может превратить его в реальность. Для Франции было бы хорошо, если бы эта идея получила широкое распространение. Преимущества политической гармонии очевидны для наименее интеллектуальных слоев населения. Гармония — это, так сказать, поэзия порядка, а порядок имеет жизненно важное значение для трудящегося населения. А что такое порядок, если свести его к простейшему выражению, как не согласие вещей между собой — короче говоря, единство? Архитектура, музыка и поэзия — всё во Франции, и во Франции больше, чем в любой другой стране, основано на этом принципе; оно зиждется на самом фундаменте её ясного и точного языка, а язык всегда должен быть самым безошибочным показателем национального характера. Точно так же, как вы можете заметить, французские народные мелодии наиболее способны поразить воображение, люди подхватывают самые гармоничные мелодии; ясность мысли, интеллектуальная простота идеи привлекают их; им нравятся пронизательные изречения, содержащие наибольшее количество идей. Франция — единственная страна в мире, где короткая фраза может привести к великой революции. Всякий раз, когда массы поднимались, это происходило для того, чтобы привести людей, дела и принципы к согласию. Ни одна нация не имеет более ясного понимания той идеи единства, которая должна пронизывать жизнь аристократии; возможно, ни одна другая нация не имеет столь глубокого понимания политической необходимости; история никогда не застанет её отстающей от времени. Франция не раз сбивалась с пути истинного, но она, подобно женщине, обманывается благородными идеями, сиянием энтузиазма, которое поначалу превосходит трезвый разум.

Итак, начнем с того, что наиболее поразительной особенностью Фобура является великолепие его Величественных особняков, великолепные сады и окружающая тишина, соизмеримая с княжескими доходами, получаемыми от обширных поместий. И что это за дистанция между классом и целым мегаполисом, как не видимое и внешнее выражение совершенно иного мировоззрения, которое неизбежно должно их разделять? Положение головы четко определено в каждом организме. Если нация по какой-либо случайности позволяет своей голове упасть к своим ногам, она почти наверняка рано или поздно обнаружит, что это самоубийственная мера; и поскольку нации не желают погибать, они немедленно начинают работать над тем, чтобы

вырастить новую голову. Если им не хватает сил для этого, они погибают, как погибли Рим, Венеция и многие другие государства.

Это различие между высшими и низшими сферами общественной деятельности, подчеркиваемое различиями в образе жизни, неизбежно подразумевает, что в высшей аристократии есть реальная ценность и определенные отличительные черты. В любом государстве, независимо от формы «правления», как только патрицианский класс перестает поддерживать то полное превосходство, которое является условием его существования, он перестает быть силой и тут же низвергается народом. Народ всегда хочет видеть деньги, власть и инициативу в своих лидерах, их руках, сердцах и умах; они должны быть представителями, они должны олицетворять интеллект и славу нации. Нации, как и женщины, любят силу в тех, кто ими правит; они не могут любить без уважения; они категорически отказываются подчиняться тем, кого не боятся. Аристократия, впадшая в презрение, — это *roi faineant* (король-марионетка), муж в юбке; сначала она перестает быть собой, а затем перестает существовать.

Таким образом, изоляция знати, резкое отличие в их образе жизни, или, одним словом, общий обычай патрицианской касты, одновременно являются признаком реальной власти и приводят к их уничтожению, как только эта власть утрачивается. Фобур Сен-Жермен не осознал условия своего существования, пока еще было легко сохранить его, и поэтому на время был низвергнут. Фобуру следовало бы взглянуть правде в глаза, как это сделала английская аристократия до них; им следовало бы понять, что у каждого института есть свои кульминационные периоды, когда слова теряют свои прежние значения, идеи вновь появляются в новом обличье, и все условия политики претерпевают изменения, в то время как лежащие в их основе реалии не претерпевают существенных изменений.

Эти идеи требуют дальнейшего развития, которое составляет существенную часть этого эпизода; здесь они представлены как в виде краткого изложения причин, так и в качестве объяснения событий, происходящих в ходе повествования.

Величественность замков и дворцов, где живут дворяне; роскошь деталей; постоянно поддерживаемая пышность мебели; «атмосфера», в которой счастливый владелец поместий (богатый человек еще до своего рождения) живет и перемещается легко и без проблем; образ мышления, никогда не опускающийся до подсчета мелких повседневных благ существования; досуг; высшее образование, достижимое в гораздо более раннем возрасте; и, наконец, аристократическая традиция, которая делает его социальной силой, с которой его противники, благодаря учебе, сильной воле и упорству в профессиональной деятельности, едва ли могут сравниться — все это должно способствовать формированию возвышенного духа в человеке, обладающем такими привилегиями с юности; это должно запечатлеть в его характере то высокое самоуважение, малейшим следствием которого является благородство сердца, гармонирующее с благородным именем, которое он носит. И в некоторых немногих семьях все это реализуется. В Фобуре встречаются кое-где благородные личности, но они являются заметным исключением из общего правила эгоизма, которое погубило этот мир внутри мира. Перечисленные выше привилегии: Это неотъемлемое право французской знати, как и любого патрицианского процветания, когда-либо

существовавшего на территории страны; и оно будет оставаться их до тех пор, пока их существование основано на недвижимости или деньгах; как на золоте, так и на серебряном владении, единственной прочной основе организованного общества; но такие привилегии предоставляются при условии, что патриции должны продолжать оправдывать свое существование. Существует своего рода моральное феодальное владение, основанное на сроке службы суверену, и здесь, во Франции, народ, несомненно, является сувереном в наши дни. Времена изменились, как и оружие. Рыцарь-знаменосец в старину носил кольчугу; он умел хорошо обращаться с копьем и демонстрировать свой вымпел, и от него больше ничего не требовалось; сегодня же он обязан доказывать свой интеллект. В былые времена было достаточно крепкого сердца; в наши дни от него требуется вместительный мозг. Мастерство, знания и капитал — эти три составляющие образуют социальный треугольник, на котором красуется герб власти; наша современная аристократия должна опираться именно на них.

Прекрасная теорема равнозначна великому имени. Ротшильды, Фуггеры девятнадцатого века — фактически князья. Великий художник — это, по сути, олигарх; он представляет целое столетие и почти всегда является законом для других. И искусство слова, мощный механизм писателя, гений поэта, непоколебимая выносливость купца, сильная воля государственного деятеля, который концентрирует в себе тысячу ослепительных качеств, генеральский меч — все эти победы, короче говоря, которые одерживает один человек, чтобы возвышаться над остальным миром, патрицианский класс теперь обязан завоевывать и удерживать исключительно. Они должны возглавлять новые силы так же, как когда-то возглавляли материальные силы; как они смогут сохранить это положение, если не достойны его? Как, если они не являются душой и мозгом нации, они смогут привести ее в движение? Как руководить народом без власти командования? И что такое маршальская палочка без врожденной силы капитана в человеке, который ею владеет? Партия «Фобур Сен-Жермен» принялась играть с жезлами и вообразила, что вся власть в её руках. Она перевернула с ног на голову условия своего создания. И вместо того, чтобы отбросить знаки отличия, оскорблявшие народ, и спокойно завладеть властью, она позволила буржуазии захватить авторитет, цеплялась с роковой упрямостью за её тень и снова и снова забывала законы, которые меньшинство должно соблюдать, чтобы выжить. Когда аристократия составляет едва тысячную часть общества, она сегодня, как и в прежние времена, обязана умножать свои силы, чтобы уравновесить вес масс в великом кризисе. А в наши дни этими средствами должны быть живые силы, а не исторические воспоминания.

К сожалению, во Франции знать всё ещё была настолько превознесена мыслью о своей утраченной власти, что ей было трудно противостоять своего рода врожденной самонадеянности. Возможно, это национальный недостаток. Француз меньше всех склонен недооценивать себя; ему естественно стремиться от своего положения к более высокому; и хотя он редко жалеет несчастных, над головами которых возвышается, он всегда скорбит, видя так много удачливых людей выше себя. Он очень далёк от бессердечности, но слишком часто предпочитает прислушиваться к своему интеллекту. Национальный инстинкт, который выводит француза на передний план, тщеславие,

растрачивающее его состояние, является такой же доминирующей страстью, как и бережливость, у голландцев. На протяжении трёх столетий он влиял на знать, которая в этом отношении, безусловно, была в высшей степени французской. Отпрыск Фобур-Сен-Жермен, видя своё материальное превосходство, был полностью убеждён в своём интеллектуальном превосходстве. И всё способствовало укреплению его веры; ибо с тех пор Фобур Сен-Жермен вообще существовал — то есть с тех пор, как Версаль перестал быть королевской резиденцией, — Фобур, с некоторыми перерывами в преемственности, всегда поддерживался центральной властью, которая во Франции редко отказывается от поддержки этой стороны. Отсюда и его падение в 1830 году.

В то время партия Фобур-Сен-Жермен была подобна армии без оперативной базы. Она совершенно не смогла воспользоваться миром, чтобы закрепиться в центре страны. Она согрешила из-за неспособности извлечь урок и из-за полного пренебрежения собственными интересами. Будущая уверенность была принесена в жертву сомнительной сиюминутной выгоде. Эта политическая ошибка, возможно, объясняется следующими причинами.

Столь упорно поддерживаемая знатью классовая изоляция привела к фатальным последствиям за последние сорок лет; она даже погасила кастовый патриотизм и породила соперничество между ними. Когда французская знать в прежние времена была богата и могущественна, дворяне могли выбирать себе вождей и подчиняться им в час опасности. По мере уменьшения их власти они становились всё менее поддающимися дисциплине; и, как в последние дни Византийской империи, каждый хотел стать императором. Они ошибочно принимали свою общую слабость за общую силу.

Каждая семья, разоренная Революцией и отменой закона о первородстве, думала только о себе, и вовсе не о знатной аристократической семье. Им казалось, что по мере обогащения каждого отдельного человека партия в целом будет укрепляться. И в этом заключалась их ошибка. Деньги, подобно им, — лишь внешний и видимый признак власти. Все эти семьи состояли из людей, которые сохраняли высокие традиции учтивости, истинной щедрости, изысканной речи, семейной гордости и щепетильного чувства долга перед знатью, что хорошо сочеталось с тем образом жизни, который они вели; жизнью, полностью наполненной занятиями, которые становятся презренными, как только перестают быть второстепенными и занимают главное место в их жизни. Во всех этих людях были определенные внутренние достоинства, но эти достоинства были поверхностными, и ни одно из них не стоило своей цены.

Ни одна из этих семей не осмелилась задать себе вопрос: «Достаточно ли мы сильны для ответственности власти?» Их возвели на вершину, подобно юристам 1830 года; и вместо того, чтобы занять место покровителя, как великий человек, Фобур Сен-Жермен показал себя жадным выскочкой. Самая интеллектуальная нация в мире ясно поняла, что восстановленные дворяне организуют всё в своих собственных интересах. С того дня дворянство было обречено. Фобур Сен-Жермен пытался быть аристократией, когда мог быть только олигархией — две совершенно разные системы, в чём любой человек может убедиться сам, если внимательно изучит список отцовских фамилий Палаты пэров.

Правительство короля, безусловно, желало добра; но принцип, согласно которому народ должен желать всего, включая собственное благополучие, постоянно забывался, и никто не учитывал, что Ла Франс — женщина, капризная, и должна быть счастлива или наказана по своему собственному желанию. Если бы было много герцогов, подобных герцогу де Лавалю, чья скромность делала его достойным носимого имени, старшая ветвь династии занимала бы трон так же прочно, как и Ганноверский дом в наши дни.

В 1814 году французская знать была призвана утвердить своё превосходство над большинством Аристократическая буржуазия в самой женственной из всех стран должна была занять лидирующие позиции в самую образованную эпоху, которую когда-либо видел мир. И это было особенно заметно в 1820 году. Фобур Сен-Жермен вполне мог бы возглавить и развлекать средний класс в те времена, когда люди восхищались привилегиями, а искусство и наука были в моде. Но узколобые лидеры эпохи великого интеллектуального прогресса все они ненавидели искусство и науку. У них даже не хватало ума представить религию в привлекательных красках, хотя им нужна была её поддержка. В то время как Ламартина, Ламенне, Монталамбера и других писателей вдыхали новую жизнь и возвышали представления людей о религии, украшая их поэзией, эти неумехи в правительстве предпочли показать всю суровость своей веры по всей стране. Никогда ещё нация не была в таком покладистом настроении; Франция, подобно усталой женщине, была готова согласиться на что угодно; Никогда еще неумелое управление не было столь нелепым; и Ла Франс, как настоящая женщина, простила бы обиды легче, чем некомпетентность.

Если знать намеревалась восстановить свои позиции, чтобы создать сильную олигархию, ей следовало бы честно и тщательно обыскать свои палаты в поисках людей того типа, которых использовал Наполеон; ей следовало бы вывернуться наизнанку, чтобы выяснить, не скрывается ли где-нибудь в недрах Фобура Ришелье-конституционалист; и если бы этот гений не нашелся среди них, ей следовало бы отправиться на его поиски, даже в темной мансарде, где он мог бы замерзнуть; ей следовало бы ассимилировать его, как английская Палата лордов постоянно ассимилирует аристократов, появившихся случайно; и, наконец, приказать ему быть безжалостным, обрубить старую древесину и срубить дерево до живых побегов. Но, во-первых, великая система английского торизма была слишком обширна для узких умов; для ее внедрения требовалось время, а во Франции запоздалый успех ничем не лучше фиаско. Более того, вместо того чтобы проводить политику искупления и искать новые силы там, где их поместит Бог, эти мелкие влиятельные люди стали испытывать неприязнь ко всему, что не исходило из их среды; и, наконец, вместо того чтобы омолодиться, «Фобур Сен-Жермен» заметно постарел.

Этикет, не являвшийся первостепенной необходимостью, мог бы сохраняться, если бы он соблюдался только в государственных случаях, но в нынешнем виде ежедневно велись споры о старшинстве; это перестало быть вопросом искусства или придворной церемонии, оно стало вопросом власти. И если с самого начала у короны не было советника, способного справиться с таким серьезным кризисом, то аристократии еще больше не хватало понимания своих более широких интересов, инстинкта, который мог бы восполнить этот недостаток. Они благосклонно относились к браку господина

де Талейрана, хотя господин де Талейран был единственным среди них человеком с железным умом, способным создать новую политическую систему и начать новую славную карьеру для нации. Фобур презирал министра, если тот не был благородного происхождения, и не выдвинул ни одного человека благородного происхождения, достойного быть министром. Было множество дворян, способных служить своей стране, повышая авторитет мировых судей, улучшая землю, прокладывая дороги и каналы и принимая активное и ведущее участие в жизни сельской местности; но они продали свои поместья, чтобы играть на фондовой бирже. Фобур мог бы поглотить энергичных людей из буржуазии и открыть их ряды для амбиций, подрывавших авторитет; вместо этого они предпочли сражаться, и сражаться безоружными, ибо от всего, чем они когда-то обладали, не осталось ничего, кроме традиций. К их несчастью, у них как у класса осталось ровно столько прежнего богатства, чтобы поддерживать свою горькую гордость. Они были довольны своим прошлым. Никто из них всерьез не думал о том, чтобы приказать сыну дома взять в руки оружие из груды оружия, которую девятнадцатый Рыночная площадь. Молодые люди, отстраненные от должностей, танцевали на балах у мадам, в то время как им следовало бы заниматься работой, которую при Республике и Империи выполняли молодые, добросовестные, безвредно занятые люди. Их задача заключалась в том, чтобы в Париже реализовывать программу, которой должны были следовать их старшие коллеги в стране. Главы домов могли бы вернуть себе признание своих титулов, неустанно уделяя внимание местным интересам, идя в ногу со временем, перестраивая свой порядок в соответствии с вкусами эпохи.

Но, запертая в Фобур-Сен-Жермен, где еще сохранялся дух старинного двора и традиции давних распрей между дворянами и короной, аристократия не была полностью предана Тюильри, и тем легче ее было победить, потому что она была сосредоточена в Палате пэров и даже там плохо организована. Если бы дворяне сплели сеть по всей стране, они могли бы устоять; но, запертые в своем Фобуре, прижавшись спиной к замку или раскинувшись во всю длину над Бюджетом, один удар перерезал нить быстро угасающей жизни, и мелкий, самодовольный адвокат выходил вперед с топором. Несмотря на достойную лекцию г-на Ройер-Коллара, наследственное пэрство и закон о наследовании пали жертвой насмешек человека, который хвастался тем, что ловко вырвал несколько голов из лап палача, и теперь, по правде говоря, ему предстоит неуклюже приступить к уничтожению старых институтов. (опустить)

Во всем этом есть примеры и уроки на будущее. Ибо если бы у французской аристократии не было будущего, ей не нужно было бы делать ничего, кроме как найти подходящий саркофаг; сжечь ее мертвое тело огнем Тофета было бы безжалостно жестоко. Но хотя хирургический скальпель безжалостен, он иногда возвращает жизнь умирающему человеку; и «Фобур Сен-Жермен» может стать могущественнее в период преследований, чем в дни своих триумфов, если только решит организовать под руководством лидера.

Теперь легко подвести итог этому полуполитическому обзору. Желание восстановить большое состояние было первостепенным для всех; отсутствие широкого кругозора и множество мелких недостатков; реальная потребность в религии как политическом факторе в сочетании с жадной жаждой удовольствий, которая наносила ущерб

делу религии и порождала немало лицемерия; определенная протестная позиция со стороны более возвышенных и дальновидных людей, которые противостояли придворной зависти; и недовольство провинциальных семей, которые часто происходили из более чистого рода, чем дворяне, что отчуждало их от себя — все это вместе привело к крайне противоречивому положению дел в Фобур-Сен-Жермене. Он не был ни сплоченным в своей организации, ни последовательным в своих действиях, ни полностью моральным, ни откровенно распутным, он не развращался и не был развращен; он не хотел полностью отказываться от спорных вопросов, которые наносили ущерб его делу, и в то же время не хотел принимать политику, которая могла бы его спасти. Короче говоря, какими бы слабыми ни были отдельные личности, партия в целом была вооружена всеми великими принципами, лежащими в основе национального существования. Что же было в Фобуре, что он должен был погибнуть в своей силе?

При выборе кандидатов было очень трудно угодить всем; у Фобура был хороший вкус, он отличался презрительной щепетильностью, и все же в его падении не было ничего по-настоящему славного или рыцарского.

В эмиграции 1789 года прослеживались некоторые признаки более возвышенных чувств; но в Эмиграция 1830 года из Парижа в деревню не отличалась ничем, кроме корысти. Несколько известных литераторов, несколько триумфальных выступлений в Палатах, позиция г-на де Талейрана на Конгрессе, взятие Алжира и немало имен, прошедших с поля боя на страницы истории — все это было множеством примеров, представленных французской аристократии, чтобы показать, что у них все еще есть возможность участвовать в национальной жизни и добиться признания своих притязаний, если, конечно, они могли позволить себе такую снисходительность. В каждом живом организме постоянно происходит работа по приведению целого в гармонию. Если человек ленив, лень проявляется во всем, что он делает; и точно так же общий дух класса довольно ясно проявляется в том, как он смотрит на мир, и душа влияет на тело.

Женщины эпохи Реставрации не проявляли ни гордого пренебрежения к общественному мнению, которое демонстрировали придворные дамы прошлых лет в своей распущенности, ни простого величия запоздалых добродетелей, которыми они искупали свои грехи и прославляли свои имена. В женщинах эпохи Реставрации не было ничего ни легкомысленного, ни серьезного. Как правило, они были лицемерны в своих страстях, и, так сказать, усугубляли их удовольствиями. Несколько семей вели домашнюю жизнь герцогини Орлеанской, чье брачное ложе так нелепо выставлялось напоказ посетителям в Пале-Рояль. Две или три семьи продолжали традиции эпохи Регентства, вызывая у более умных женщин нечто вроде отвращения. Великая дама новой школы не оказывала никакого влияния на нравы того времени; и все же она могла бы многое сделать. В худшем случае она могла бы представлять собой столь же достойное зрелище, как и английские женщины того же ранга. Но она слабо колебалась, идя по проторенной дорожке старых правил, в силу обстоятельств стала фанатичкой и не позволяла проявиться ничему из себя, даже своим лучшим качествам.

Ни одна из француженок того времени не обладала способностью создать салон, куда бы приходили законодательницы моды, чтобы брать уроки вкуса и элегантности. Их голоса, некогда устанавливавшие правила для литературы, этого живого выражения эпохи, теперь были абсолютно ничтожны. Теперь, когда у литературы отсутствует общая система, она не может сформировать собственное тело и умирает вместе со своей эпохой.

Когда в какой-либо стране в любое время существует отдельный народ, сформированный таким образом, историк почти наверняка обнаружит какую-нибудь представительную фигуру, какую-нибудь центральную личность, воплощающую в себе качества и недостатки всей партии, к которой он принадлежит; например, Колиньи среди гугенотов, коадьютёр во времена Фронды, маршал Ришелье при Людовике XV, Дантон во время Террора. По своей природе человек должен быть отождествлён с той компанией, в которой его застаёт история. Как можно руководить партией, не соответствуя её идеям? Или блистать в какую-либо эпоху, если человек не представляет идеи своего времени? Мудрый и осмотрительный глава партии постоянно вынужден склоняться перед предрассудками и глупостями её окружения; И это является причиной поступков, за которые его впоследствии критикуют те или иные историки, сидящие на более безопасном расстоянии от ужасающих народных взрывов, хладнокровно оценивающие страсть и брожение, без которых великие мировые войны вообще не могли бы продолжаться. И если это верно для исторических комедий веков, то это в равной степени верно и в более ограниченной сфере, в отстраненных сценах национальной драмы, известных как нравы эпохи.

В начале той мимолетной жизни, которую вел «Фобур Сен-Жермен» под руководством... Реставрация, которой, если в вышеприведенных размышлениях есть хоть доля правды, они не смогли дать. Стабильность, совершеннейший тип аристократической касты в её слабости и силе, величии и ничтожности, могла быть на короткое время обретена в молодой замужней женщине, принадлежавшей к ней. Это была женщина с искусственным образованием, но в действительности невежественная; женщина, чьи инстинкты и чувства были возвышенны, но отсутствовала мысль, которая должна была ими управлять. Она растратила богатство своей натуры, подчиняясь социальным условностям; она была готова бросить вызов обществу, но колебалась, пока её угрызения совести не выродились в притворство. С большей своеволием, чем подлинной силой характера, впечатлительная, а не восторженная, одарённая скорее умом, чем сердцем; она была в высшей степени женщиной, в высшей степени кокеткой и, прежде всего, парижанкой, любящей яркую жизнь и веселье, никогда не задумывающейся или слишком поздно размышляющей; безрассудной до поэзии и смиренной в глубине души, несмотря на свою очаровательную дерзость. Подобно пряморастущей трости, она демонстрировала независимость; однако, как и тростник, была готова склониться перед сильной рукой. Она много говорила о религии, но не питала к ней сострадания, хотя и была готова найти в ней решение своих жизненных проблем. Как объяснить столь сложную натуру? Способная на героизм, но неосознанно опускающаяся с героических высот, чтобы произнести злобное слово; молодая и добродушная, не столько старая душой, сколько состарившаяся под влиянием нравов окружающих; сведущая в эгоистичной

философии, в которой она совершенно не разбиралась, она обладала всеми пороками придворной, всем благородством юной женщины. Она никому и ничему не доверяла, но иногда отступала от своего скептического.

Как мог какой-либо портрет быть неполным, если игра быстро меняющихся красок создавала диссонанс, порождая лишь поэтическую путаницу? Ибо в ней сияла божественная яркость, юношеское сияние, которое объединяло все ее сбивающие с толку черты в некую полноту и единство, пронизанные ее обаянием. Ничто не было притворным. Страсть или полустрасть, неэффективные высокие устремления, подлинная мелочность, холодность чувств и теплота импульса — все это было спонтанным и неподдельным, и являлось результатом как ее собственного положения, так и положения аристократии, к которой она принадлежала. Она была полностью самодостаточна; она гордо ставила себя выше мира и под защиту своего имени. В ее жизни было что-то от эгоизма медеи, как и в жизни умирающей аристократии, которая даже не поднимала руки и не протягивала руку ни одному политическому врагу; настолько хорошо осознавая свою слабость или настолько понимая, что уже превратилась в прах, что отказывалась прикасаться к себе или быть тронутой.

Герцогиня де Ланже (так её звали) была замужем около четырёх лет, когда Реставрация наконец завершилась, то есть в 1816 году. К тому времени революция «Ста дней» пролила свет на мысли Людовика XVIII.

Несмотря на окружающую обстановку, он понимал ситуацию и эпоху, в которой жил; и лишь позже, когда этот Людовик XI, без топора, был поражен болезнью, окружающие его люди одержали верх. Герцогиня де Ланже, по происхождению Наварренская, происходила из герцогского дома, который со времен Людовика XIV принципиально никогда не выходил замуж за человека ниже своего ранга. Каждая дочь этого дома рано или поздно должна была занять место при дворе. Так, Антуанетта де Наварренская в восемнадцать лет вышла из глубокого уединения, в котором провела свою юность, чтобы выйти замуж за старшего сына герцога де Ланже. В то время обе семьи жили совершенно оторванными от мира; но после вторжения во Францию возвращение Бурбонов казалось каждому роялисту единственным возможным способом положить конец страданиям войны.

Герцоги Наваррские и Ланже были верны изгнанным принцам, благородно сопротивляясь всем соблазнам славы в эпоху Империи. В сложившихся обстоятельствах они, естественно, следовали старой семейной политике; и мадемуазель Антуанетта, красивая и безбрачная девушка, вышла замуж за маркиза де Ланже всего за несколько месяцев до смерти герцога и его отца.

После возвращения Бурбонов их семьи вновь обрели свой ранг, должности и достоинство при дворе; они вновь вошли в общественную жизнь, от которой до этого держались в стороне, и заняли свое место на залитых солнцем вершинах нового политического мира. В то время всеобщей низости и фиктивных политических перемен общественное сознание с радостью признало незапятнанную лояльность двух домов и последовательность в политической и частной жизни, за которую все партии невольно их уважали. Но, к сожалению, как это часто бывает в переходный период, самые бескорыстные люди, люди, чьи высокие взгляды и мудрые принципы могли бы

завоевать доверие французской нации и заставить ее поверить в великодушие новой и энергичной политики, — этих людей, повторюсь, отстранили от дел, и государственные дела перешли в руки других, которые сочли выгодным доводить принципы до крайних последствий, чтобы доказать свою преданность.

Семьи Ланже и Наваррен оставались при дворе, обреченные выполнять обязанности, предписанные придворной церемонией, под упреки и насмешки. Либеральная партия. Их обвиняли в том, что они предавались богатству и почестям, в то время как их семейные имения не становились больше, чем прежде, а щедрые средства из гражданского списка полностью расходовались на поддержание государства, необходимого для любого европейского правительства, даже если это была республика.

В 1818 году герцог де Ланже командовал дивизией армии, а герцогиня занимала должность при одной из принцесс, благодаря чему могла жить в Париже отдельно от мужа, не опасаясь скандала. Более того, герцог, помимо своих военных обязанностей, имел место при дворе, куда он приезжал во время своего пребывания в должности, оставляя командующего генерал-майора. Герцог и герцогиня жили совершенно раздельно, и мир об этом ничего не знал. Их брак, заключенный по традиции, постигла участь почти всех подобных семейных союзов. Двух более антагонистических характеров и представить было невозможно; их свели вместе; они мешали друг другу; между ними возникла неприязнь; затем их разлучили раз и навсегда. Потом они разошлись, при этом, как и следовало ожидать, соблюдая приличия. Герцог де Ланже, по натуре столь же методичный, как и сам шевалье де Фолар, методично предавался своим вкусам и развлечениям, а жене предоставлял свободу делать все, что ей заблагорассудится, как только убеждался в ее характере. Он разглядел в ней прежде всего гордый нрав, холодное сердце, глубокую покорность мирским обычаям и юношескую преданность. Под взглядами знатных родственников, под пристальным вниманием чопорного и фанатичного двора, его честь была в безопасности.

Герцог спокойно поступил так, как поступали великие сеньоры XVIII века, оставив молодую жену, которой было двадцать два года, на произвол судьбы. Он глубоко оскорбил эту жену, и в её характере была одна ужасающая черта — она никогда не простила бы оскорбления, когда тщеславие и самолюбие женщины, вместе со всем лучшим, что было в её природе, были задеты, задеты втайне. Оскорбление и обида перед лицом мира — женщина любит забывать; у неё есть возможность показать себя великой; она — женщина в своём прощении; но тайное оскорбление женщины никогда не прощают; ибо к тайной низости, как и к скрытым добродетелям и скрытой любви, у них нет доброты.

Таково было истинное положение мадам герцогини де Ланже, неизвестное миру. Сама она об этом не задумывалась. Это было время ликования по поводу брака герцога де Берри. Двор и Фобур вышли из состояния апатии и замкнутости. Это было подлинным началом того неслыханного великолепия, которое правительство Реставрации зашло слишком далеко. В то время герцогиня, то ли по своим собственным причинам, то ли из-за тщеславия, никогда не появлялась на публике без сопровождения женщин, столь же известных по имени и состоянию. Как королева

моды, она имела своих дам покровительниц, своих дам, которые подражали ей в манерах и остроумии. Они были искусно выбраны. Никто из ее приближенных не принадлежал к узкому кругу придворных или к высшему слою Фобура Сен-Жермен; но они стремились попасть в эти внутренние святилища.

Будучи пока еще простыми конфессиями, они стремились подняться до уровня, близкого к трону, и смешаться с серафическими силами в высшей сфере, известной как «маленький замок». В таких условиях позиция герцогини стала более прочной, властной и надежной. Её «дамы» защищали её репутацию и помогали ей играть отвратительную роль светской дамы. Она могла непринужденно смеяться над мужчинами, играть с огнём, принимать почести, которыми питается женская природа, и оставаться хозяйкой своей судьбы.

В Париже, в высшем обществе, женщина остается женщиной; она живет благовониями, восхищением и почестями. Никакая красота, какой бы несомненной она ни была, никакое лицо, каким бы прекрасным оно ни было, не имеет значения без восхищения. Лесть и любовник – доказательство власти. А что такое власть без признания? Ничего. Если бы самую красивую женщину оставили одну в углу гостиной, она бы поникла. Но если бы ее поместили в самый центр и на вершину светского величия, она бы тут же стала стремиться править всеми сердцами – часто потому, что ей не под силу быть счастливой королевой одного из них. Одежда, манеры и кокетство – все это призвано угодить одному из самых бедных существ на свете – безмозглому щеголю, чье красивое лицо – единственное его достоинство; именно ради таких женщин женщины и отдавали себя. Позолоченные деревянные идола Реставрации, ибо они не были ни больше, ни меньше, не имели ни предшественников «малых метрдотелей» времен Фронды, ни грубой, но благородной ценности героев Наполеона, ни остроумия и изысканных манер своих дедов; но они стремились быть чем-то от всех трех, не прилагая к этому никаких усилий. Они были храбры, как и все молодые французы; несомненно, обладали способностями, если бы им представилась возможность их доказать, но их места занимали старые, измученные люди, которые держали их на узде. Это была эпоха мелочей, холодная, прозаическая эпоха. Возможно, Реставрации требуется много времени, чтобы стать монархией.

Последние восемнадцать месяцев герцогиня де Ланже вела эту пустую жизнь, наполненную балами и последующими визитами, бесцельными триумфами и мимолетными любовными увлечениями, которые возникали и умирали за один вечер. Все взгляды были обращены на нее, когда она входила в комнату; она пожинала плоды лести и нескольких слов теплого восхищения, которые она поощряла жестом или взглядом, но никогда не позволяла им проникнуть глубже, чем на поверхность. Ее тон, манера поведения и все остальное в ней навязывали свою волю окружающим. Её жизнь была своего рода лихорадкой тщеславия и вечных наслаждений, которая сводила её с ума. Она была достаточно смелой в разговорах; она слушала всё что угодно, развращая, так сказать, поверхность своего сердца. И всё же, возвращаясь домой, она часто краснела от истории, которая её рассмешила; от скандального рассказа, который раскрывал подробности, на основе которых она анализировала любовь, которую никогда не знала, и отмечала тонкие различия современной страсти, не комментируя

это со стороны самодовольных лицемеров. Ибо женщины умеют говорить всё между собой, и больше женщин губят друг друга, чем развращаются мужчинами.

Наступил момент, когда она поняла, что только когда женщину полюбят, мир в полной мере оценит её красоту и остроумие. Что доказывает муж? Просто то, что девушка или женщина была наделена богатством или хорошо воспитана; что её мать ловко сумела каким-то образом удовлетворить амбиции мужчины. Возлюбленный постоянно свидетельствует о её личном совершенстве. Затем последовало открытие, ещё в юности мадам де Ланже, что можно быть любимой, не беря на себя никаких обязательств, без разрешения, не обещая никакого удовлетворения, кроме самых скудных пожертвований. Ей помогали не одна скромная лицемерка, которая учила её искусству разыгрывать такие опасные комедии.

Так у герцогини был свой двор, и число её поклонников и придворных гарантировало её добродетель. Она была любезна и очаровательна; она кокетничала до тех пор, пока бал или вечернее веселье не заканчивались. Затем опускался занавес. Она становилась холодной, равнодушной, снова замкнутой, пока следующий день не приносил новые ощущения, такие же поверхностные, как и прежде. Двое или трое мужчин были полностью обмануты и влюбились по-настоящему. Она смеялась над ними, она была совершенно... Она была безразлична. «Меня любят!» — говорила она себе. «Он любит меня!» Этой уверенности ей было достаточно. Скрыге достаточно знать, что любая его прихоть может быть исполнена, если он того пожелает; так было и с герцогиней, и, возможно, она даже не стала загадывать желания.

Однажды вечером она случайно оказалась в доме своей близкой подруги, мадам виконтессы де Фонтен, одной из смиренных соперниц, которая искренне ее ненавидела, и повсюду сопровождала ее. В такой «дружбе» обе стороны настороже и никогда не снимают свою броню; откровенные разговоры отличаются искусной неосторожностью и нередко носят предательский характер. Мадам де Ланже одарила всех своими снисходительными, дружелюбными или холодными поклонами, свойственными женщине, знающей ценность своей улыбки, когда ее взгляд упал на совершенно незнакомого человека. Что-то в серьезном, солидном облике мужчины встревожило ее, и, с чувством, почти пугающим, она повернулась к мадам де Мофриньез и спросила: «Кто этот новичок, дорогая?»

«Несомненно, вы слышали о ком-то. Маркиз де Монтриво».

«О! Неужели это он?»

Она взяла свои очки и подвергла его крайне наглому взгляду, как будто он...

Эта картина создана для того, чтобы привлекать взгляды, а не отвечать на них.

«Представьте его; он должен быть интересным».

«Нет никого более утомительного и скучного, дорогая. Но он сейчас в тренде».

Г-н Арман де Монтриво, в тот момент невольно ставший объектом всеобщего любопытства, заслуживал большего внимания, чем любой из идолов, которым Париж вынужден поклоняться лишь на короткое время, ибо город периодически мучается от приступов желания, страсти к пожиранию и притворного энтузиазма, которые

необходимо удовлетворять. Маркиз был единственным сыном генерала де Монтриво, одного из сирот, благородно служивших Республике и павших рядом с Жубером под Нови. Бонапарт отдал своего сына в школу в Шалоне, к сиротам других генералов, павших на поле боя, оставивших своих детей под защитой Республики. Арман де Монтриво бросил школу, чтобы добиться успеха, поступил в артиллерию и на момент катастрофы в Фонтенбло имел лишь звание майора. В его подразделении шансы на продвижение по службе были невелики. Во-первых, среди артиллеристов было меньше офицеров, чем в любом другом корпусе; во-вторых, в артиллерии царили явно либеральные, если не сказать республиканские, настроения; и император, не испытывая особого доверия к группе высокообразованных людей, способных мыслить самостоятельно, неохотно повышал их в звании. Соответственно, в артиллерии не действовало общее правило армии; командиры не всегда были самыми выдающимися людьми в своем подразделении, потому что меньше было опасений по поводу посредственностей. Артиллерия в те времена была отдельным корпусом и вступала в бой только при Наполеоне.

Помимо этих общих причин, другие факторы, присущие характеру Армана де Монтриво, сами по себе были достаточны для объяснения его запоздалого продвижения по службе. Он был одинок в этом мире. В двадцать лет он оказался в водовороте людей, которыми руководил Наполеон; его интересы были ограничены только им самим, в любой день он мог потерять жизнь; для него стало привычным жить, руководствуясь собственным самоуважением и осознанием того, что он выполнил свой долг. Как и все застенчивые люди, он обычно молчал; но его застенчивость отнюдь не была вызвана робостью; это была своего рода скромность в нем; он находил любое проявление тщеславия невыносимо. В его бесстрашии в действии не было никакой надменности; ничто не ускользало от его взгляда; он мог давать разумные советы своим товарищам с непоколебимым хладнокровием; он мог идти под обстрел и при необходимости уворачиваться от пуль. Он был добрым; но выражение его лица было надменным и суровым, и именно это лицо придало ему этот облик. Во всем он был строг, как в арифметике; он никогда не допускал ни малейшего отклонения от долга под каким бы то ни было правдоподобным предлогом и не моргал глазом, видя последствия своих действий. Он не позволял себе ничего, чего бы ему не было стыдно; он никогда ничего не просил для себя; короче говоря, Арман де Монтриво был одним из многих великих людей, неизвестных славе, и достаточно философски настроенных, чтобы презирать ее; живущих, не привязываясь к жизни, потому что они не нашли возможности в полной мере развить свои способности действовать и чувствовать.

Люди боялись Монтриво; они уважали его, но он не пользовался большой популярностью. Мужчины, конечно, могут позволить вам подняться над ними, но отказ опуститься до их уровня — это единственный непростительный грех. В их отношении к более возвышенным личностям прослеживается оттенок ненависти и страха. Слишком большая честь, которую они вам оказывают, подразумевает самоосуждение, чего не прощают ни живым, ни мертвым.

После прощания императора в Фонтенбло Монтриво, несмотря на своё благородное происхождение, был переведён на половинное жалование. Возможно, руководители

Военного министерства испугались его бескомпромиссной честности, достойной древности, или, возможно, было известно, что он чувствовал себя связанным своей клятвой Императорскому Орлу. Во время Сто дней он был назначен полковником гвардии и отправлен на поле битвы при Ватерлоо. Раны удерживали его в Бельгии; он не присутствовал при расформировании армии Луары, но правительство короля отказалось признать повышения по службе, сделанные во время Сто дней, и Арман де Монтриво покинул Францию.

Дух приключений, возвышенность мыслей, до сих пор удовлетворяемая опасностями войны, побудили его отправиться в исследовательскую экспедицию по Верхнему Египту; его здравомыслие или импульс направили его энтузиазм на проект огромной важности, и он обратил свое внимание на неизведанную Центральную Африку, которая сегодня занимает умы ученых. Научная экспедиция была долгой и неудачной. Он собрал ценную коллекцию заметок, касающихся различных географических и коммерческих проблем, решения которых до сих пор с нетерпением ищут; и, преодолев множество препятствий, добрался до сердца континента, когда был предан враждебному местному племени. Затем, лишенный всего, что у него было, он два года вел скитания по пустыне, будучи рабом дикарей, постоянно находясь под угрозой смерти и подвергаясь жестокому обращению, подобно немоу животному во власти безжалостных детей.

Физическая сила и выносливость позволили ему пережить ужасы плена; но его чудесное бегство почти истощило его силы. Когда он добрался до французской колонии в Сенегале, полумертвый беглец, обмотанный лохмотьями, его воспоминания о прежней жизни были смутными и бесформенными. Все великие жертвы, принесенные им в путешествиях, были забыты, как и его изучение африканских диалектов, его открытия и наблюдения. Одна история даст представление обо всем, через что он прошел. Однажды, в течение нескольких дней, дети шейха племени развлекались тем, что ставили его в качестве метки и бросали ему в голову конские кости.

Монтриво вернулся в Париж в 1818 году разоренным человеком. У него не было никаких интересов, и он не желал их иметь. Он скорее умер бы двадцать раз раньше, чем попросил бы кого-либо об одолжении; он даже не настаивал на признании своих притязаний. Несчастья и лишения развили в нем энергию даже в мелочах, в то время как привычка сохранять самоуважение превыше духовных принципов зародилась в нем. Его «я», которое мы называем совестью, заставляло его придавать значение даже самым, казалось бы, незначительным поступкам. Однако его заслуги и приключения стали известны благодаря его знакомым, среди ведущих ученых Парижа и нескольких образованных военных. События, связанные с его рабством и последующим побегом, свидетельствовали о мужестве, интеллекте и хладнокровии, которые снискали ему славу, пусть и неосознанную, и ту мимолетную известность, которой щедро одаривают парижские салоны, хотя художнику, желающему ее сохранить, приходится прилагать неимоверные усилия.

Положение Монтриво внезапно изменилось к концу того года. Он был бедным человеком, а теперь разбогател; или, по крайней мере, внешне, обладал всеми

преимуществами богатства. Королевское правительство, стремясь привлечь к себе способных людей и укрепить армию, в то время пошло на уступки старым офицерам Наполеона, если их известная лояльность и характер гарантировали верность. Имя месье де Монтриво снова появилось в армейском списке в звании полковника; он получил задолженность по жалованию и перешел в гвардию. Все эти услуги, одна за другой, были направлены на маркиза де Монтриво; он не просил ни о чем, даже о мелочах. Друзья предприняли для него шаги, которые он сам бы не решился предпринять.

После этого его привычки резко изменились; вопреки своим обычаям, он вышел в свет. Его везде принимали с большим почтением и уважением. Казалось, он нашел смысл жизни; но все происходило внутри него, не было никаких внешних признаков; в обществе он был молчалив и холоден, носил серьезное, замкнутое лицо. Его успех в обществе был велик именно потому, что он резко контрастировал с обычными лицами, которые выстраивались вдоль стен парижских салонов. Он действительно был чем-то совершенно новым. Немногословный, как отшельник или дикарь, его застенчивость считалась высокомерием, и это очень привлекало людей. Он был чем-то странным и великим.

Женщины, как правило, были очарованы этим оригинальным человеком тем больше, что он не поддавался их лести, какой бы искусной она ни была, ни уловкам, которыми они обходят самых сильных мужчин и разъедают их стальной нрав. Их парижские гримасы были непонятны господину де Монтриво; его натура откликалась лишь на звучную вибрацию возвышенных мыслей и чувств. И его бы очень быстро бросили, если бы не романтика, окружавшая его приключения и жизнь; если бы не мужчины, которые хвалили его за спиной; если бы не женщина, которая искала триумфа для своего тщеславия, женщина, которая должна была заполнить его мысли.

По этим причинам любопытство герцогини де Ланже было не менее живым, чем естественное. Так уж сложилось, что интерес к мужчине перед ней пробудился лишь накануне, когда она услышала рассказ об одном из приключений господина де Монтриво, рассказ, способный произвести самое сильное впечатление на постоянно меняющееся женское воображение.

Во время своего путешествия к истокам Нила г-н де Монтриво поссорился с одним из своих проводников, и эта ссора, несомненно, стала самой необычной в истории путешественников. Район, который он хотел исследовать, можно было добраться только пешком через пустынную местность. Путь знал только один из его проводников; ни один путешественник до него не проникал в эту часть страны, где неустрашимый офицер надеялся найти решение нескольких научных проблем. Несмотря на заверения проводника и старейшин, он отправился в это непростое путешествие. Собравшись с духом, и без того сильно обеспокоенный перспективой ужасных трудностей, он утром вышел в путь.

Рыхлый песок шелестел под ногами при каждом шаге; и когда в конце долгого дня он лег спать на землю, он никогда в жизни не был так измотан. Однако он знал, что должен встать и отправиться в путь до рассвета следующего дня, и его проводник заверил его, что они достигнут конца пути к полудню. Это обещание поддерживало его

мужество и придавало новые силы. Несмотря на страдания, он продолжал свой путь, иногда ругая науку; ему было стыдно жаловаться проводнику, и он держал свою боль при себе. Пройдя треть дня, он почувствовал, что силы покидают его, ноги кровоточат, и он спросил, скоро ли они доберутся до места. «Через час», — сказал проводник. Арман приготовился к еще одному часу пути, и они двинулись дальше.

Час пролетел незаметно; он не мог разглядеть на фоне неба даже пальмы и вершины холмов, которые должны были бы предвещать скорый конец пути; горизонт, песчаная полоса, был огромен, как круг открытого моря.

Он остановился, отказался идти дальше и пригрозил проводнику — что обманул его, убил; слезы ярости и усталости текли по его пылающим щекам; он был измотан усталостью, казалось, что жажда в пустыне склеила ему горло. Тем временем гид стоял неподвижно, с ироническим выражением лица выслушивая эти жалобы и, с явным безразличием восточного человека, изучал едва заметные признаки в песке, который казался почти черным, словно полированное золото.

«Я ошибся», — спокойно заметил он. «Я не смог разглядеть след, он был слишком...» Я давно уже здесь, мы, конечно, уже на пути, но нам нужно идти ещё два часа.

«Этот человек прав», — подумал г-н де Монтриво.

И вот он снова пошёл вперёд, изо всех сил пытаясь следовать за безжалостным туземцем. Казалось, он был связан со своим проводником какой-то нитью, подобно невидимой связи между приговорённым к смерти и палачом. Но прошло два часа, Монтриво исчерпал последние силы, и горизонт был пустым, не было ни пальм, ни холмов. Он не мог ни кричать, ни стонать, он лёг на песок, чтобы умереть, но его глаза напугали бы самого смелого; что-то в его лице, казалось, говорило, что он не умрёт в одиночестве. Его проводник, словно настоящий демон, бросил на него холодный взгляд, как человек, знающий свою силу, оставил его лежать там и держался на безопасном расстоянии, вне досягаемости своей отчаянной жертвы. Наконец, месье Монтриво набрался сил для последнего проклятия. Проводник подошел ближе, заставил его замолчать пристальным взглядом и сказал: «Разве ты не сам хотел идти туда, куда я тебя веду, несмотря ни на что? Ты говоришь, что я солгал тебе. Если бы я этого не сделал, тебя бы здесь даже не было. Хочешь узнать правду? Вот она. Нам предстоит еще пять часов пути, и мы не можем вернуться назад. Выкажись; если тебе не хватит смелости, вот мой кинжал».

Пораженный этим ужасающим знанием боли и человеческой силы, месье де Монтриво не стал бы гнаться за дикарем; он, вдохновленный гордостью европейца, поднялся на ноги и последовал за своим проводником. Пять часов подошли к концу, а месье де Монтриво все еще ничего не видел. Он обратил свои ослабевшие глаза на проводника, но нубиец поднял его на плечи и показал ему широкий водоем, окруженный зеленью, и величественный лес, освещенный закатом. Он находился всего в ста шагах от него; огромный гранитный выступ скрывал великолепный пейзаж. Арману показалось, что он обрел новую жизнь. Его проводник, этот гигант храбрости и ума, завершил свою работу. преданность, которую они проявили, неся его по раскаленному, скользкому, едва различимому гранитному участку. Позади него

простирался ад раскаленного песка, перед ним — земной рай, самый прекрасный оазис в пустыне.

Герцогиня, с самого начала пораженная внешностью этой романтической фигуры, была еще больше впечатлена, узнав, что это тот самый маркиз де Монтриво, о котором ей снилось ночью. Она была с ним среди раскаленных песков пустыни, он был спутником ее кошмарных странствий; разве это не было восхитительным предзнаменованием нового интереса в ее жизни для такой женщины? И никогда еще внешность мужчины не была лучшим показателем его характера; никогда еще любопытные взгляды не были так оправданы. Главной чертой его большой, квадратной головы были густые, пышные черные волосы, обрамлявшие лицо и придававшие ему поразительное сходство с генералом Клебером; и это сходство сохранялось в выразительном лбу, в очертаниях лица, в спокойной бесстрашности его глаз и в своего рода огненной ярости, выраженной ярко выраженными чертами. Он был невысокого роста, с широкой грудью и мускулистый, как лев. В нем было что-то от деспота, и неопишное ощущение уверенности в своих силах отражалось в его походке, позе и малейших движениях. Казалось, он знал, что его воля непреодолима, возможно, потому что не желал ничего несправедливого. И все же, как и все по-настоящему сильные мужчины, он был мягок в речи, прост в манерах и добродушен; хотя казалось, что в критической ситуации все эти прекрасные качества должны исчезнуть, и этот человек покажет себя непреклонным, непоколебимым в своей решимости, грозным в действиях. Внутренняя линия губ была слегка втянута, что, при внимательном рассмотрении, указывало на иронический подтекст.

Герцогиня де Ланже, понимая, что такая победа принесет лишь мимолетную славу, решила завести себе любовника в лице Армана де Монтриво на короткий промежуток времени, пока герцогиня де Мофриньёз не представит его публике. Она предпочтет его другим; она привяжет его к себе, продемонстрирует ему все свои кокетливые способности. Это была всего лишь фантазия, такая же ничтожная прихоть герцогини, как Лопе или Кальдерону сюжет «Собаки в яслях». Она не позволит другой женщине завладеть его вниманием; но у нее и в малейшей степени не было намерения стать его женой.

Природа наделила герцогиню всеми качествами, необходимыми для кокетства, а образование довело её до совершенства. Женщины завидовали ей, а мужчины влюблялись в неё, и не без причины. В ней не было ничего, что могло бы вдохновить любовь, оправдать её и дать ей непреходящую власть. Её красота, манеры, голос, осанка — всё это вместе придавало ей ту инстинктивную кокетливость, которая, кажется, является проявлением власти. Её фигура была грациозна; возможно, в её движениях чувствовалась некоторая неуверенность, единственная аффектация, которую можно было бы в ней обвинить; но всё в ней было частью её личности, от малейшего жеста до своеобразного оборота речи, скромного взгляда глаз. Её грация великой леди, её самая яркая черта, не разрушила истинно французскую быструю подвижность её фигуры. В её стремительных, непрерывных сменах поз было необыкновенное очарование. Казалось, она непременно станет восхитительной любовницей, когда снимет корсет и обременительный наряд. Весь восторг любви, несомненно, таился в свободе её выразительных взглядов, в её ласковых тонах, в

очаровании её слов. В ней промелькнули проблески высокородной куртизанки, тщетно протестовавшей против вероисповедания герцогини.

Вы могли бы сидеть рядом с ней весь вечер, и она бы поочередно испытывала то радость, то меланхолию. И её жизнерадостность, как и печаль, казалась спонтанной. Она могла быть любезной, презрительной, дерзкой или доверчивой по своему желанию. Её кажущаяся доброта была подлинной; у неё не было соблазна опуститься до злобы. Но в каждый момент её настроение менялось; она была полна уверенности или хитрости; её трогательная нежность уступала место душераздирающей жёсткости и бесчувственности. И всё же как изобразить её такой, какая она есть, не объединив все крайности женской натуры? Одним словом, герцогиня была всем, чем хотела быть или казаться.

Ее лицо было слегка вытянутым. В нем была грация, определенная худоба и изящество, напоминающие портреты Средневековья. Кожа у нее была белая, с легким розовым оттенком. Всё в ней, словно излишне деликатное, было пронизано излишней деликатностью.

М. де Монтриво охотно согласился на знакомство с герцогиней де Ланже; и она, в соответствии с манерами людей, чей тонкий вкус заставляет их избегать банальностей, воздержалась от того, чтобы засыпать его вопросами и комплиментами. Она приняла его с любезным почтением, которое не могло не польстить человеку, обладающему выдающимися способностями, ибо тот факт, что мужчина поднимается выше обычного уровня, подразумевает, что он обладает тем тактом, который позволяет женщинам быстро распознавать чувства. Если герцогиня и проявляла какое-либо любопытство, то лишь взглядами; ее комплименты передавались через ее манеру поведения; в ее словах проявлялась обаятельная грация, тонкий намек на желание угодить, искусство проявления которого она, как никто другой, умела демонстрировать. Однако весь ее разговор был, в некотором смысле, лишь основной частью письма; постскриптом с главной мыслью еще предстояло написать. После получаса, проведенного в непринужденной беседе, в которой слова приобретали всю свою ценность благодаря ее тону и улыбкам, месье де Монтриво уже собирался незаметно удалиться, когда герцогиня остановила его выразительным жестом.

«Не знаю, месье, оказались ли эти несколько минут, в течение которых я имел удовольствие беседовать с вами, достаточно приятными, чтобы я осмелился попросить вас навестить меня; боюсь, что было бы очень эгоистично с моей стороны желать, чтобы вы были только моими. Если мне повезет и мой дом окажется вам по душе, вы всегда найдете меня дома вечером до десяти часов».

Приглашение было произнесено с таким неотразимым изяществом, что г-н де Монтриво не смог от него отказаться. Когда он снова отступил в группу мужчин, собравшихся на некотором расстоянии от женщин, его друзья, полусмеясь, полусерьезно, поздравили его с необыкновенным приемом, оказанным ему герцогиней де Ланже. Трудная и блестящая победа, несомненно, была одержана, и вся слава была уготована артиллерии гвардии. Легко представить себе шутки, хорошие и плохие, когда эта тема была однажды затронута; мир парижских салонов так жаждет

развлечений, а шутка длится так недолго, что все стремятся насладиться ею, пока она свежа.

Подсознательно генерал чувствовал себя польщенным этой чепухой. С того места, где он расположился, его взгляд снова и снова притягивали к герцогине бесчисленные колеблющиеся отражения. Он не мог не признать про себя, что из всех женщин, чья красота пленила его глаза, ни одна не казалась более изысканным воплощением недостатков и прекрасных качеств, смешанных в совершенстве, способном воплотить мечты юности. Есть ли хоть один мужчина любого социального положения, который не испытывал бы в своей тайной душе неопишуемого восторга от женщины, которую он (пусть даже только во сне) считал своей, когда она, телом, душой и социальными качествами, удовлетворяет всем его требованиям, трижды совершенная женщина?

И если это тройное совершенство, льстящее его гордости, не является аргументом в пользу того, чтобы любить её, то всё же является.

Без всяких сомнений, одним из главных стимулов к этому чувству является то, что любовь быстро бы восстановилась, как заметил моралист XVIII века, если бы не тщеславие. И, безусловно, верно, что для каждого, мужчины или женщины, в превосходстве возлюбленной заключено огромное удовольствие. Так ли она возвышена по рождению, что презрительный взгляд никогда не сможет её ранить? Достаточно ли она богата, чтобы окружить себя людьми, которые во время своего короткого правления в процветании не уступают королевской семье, королям и финансистам? Так ли она остроумна, что колкая шутка никогда не приведёт её в замешательство? Достаточно ли она красива, чтобы соперничать с любой женщиной? — Разве так уж важно знать, что твоя любовь к себе никогда не пострадает из-за неё? Мужчина приходит к этим размышлениям в мгновение ока. А что, если в будущем, открывшись благодаря рано созревшей страсти, он увидит проблески изменчивой прелести её очарования, откровенную невинность девичьей души, опасности любовного путешествия, тысячи складок вуали кокетства? Разве этого недостаточно, чтобы тронуть сердце самого холодного человека?

Таким образом, таково было отношение господина де Монтриво к женщинам; его прошлое в некоторой степени объясняет этот необычный факт. Ещё будучи совсем юным, он оказался в эпицентре наполеоновских войн; вся его жизнь прошла на полях сражений. О женщинах он знал лишь то, что знает путешественник, спешно пересекая страну из одной гостиницы в другую. Вердикт, вынесенный Вольтером о его восьмидесяти годах жизни, Монтриво, возможно, применил бы и к своим тридцати семи годам существования; разве у него не было тридцати семи глупостей, которыми он мог бы себя упрекнуть?

В его возрасте он был таким же новичком в любви, как и юноша, который только что тайком читал «Фоблас». О женщинах ему нечего было знать; о любви он ничего не знал; и поэтому из этой невинности чувств родились желания, совершенно неизвестные ему прежде.

Здесь и там встречаются мужчины, в равной степени поглощенные работой, требуемой от них бедностью или амбициями, искусством или наукой, как господин де Монтриво — войной и жизнью, полной приключений; эти люди знают, что значит

находиться в таком необычном положении, хотя и очень редко в этом признаются. Считается, что каждый мужчина в Париже когда-либо был влюблен. Ни одна женщина в Париже не хочет брать то, что другие женщины обошли стороной. Страх быть принятым за дурака — источник столь распространенного во Франции хвастовства щеголей; ибо во Франции иметь репутацию дурака — значит быть чужаком в собственной стране. Господина де Монтриво охватило сильное желание, набравшее силу от жары пустыни и первых проблесков еще неизвестного сердца в его подавленном смятении.

Сильный мужчина, и, несмотря на свою силу, он был жесток, но умел контролировать себя; однако, говоря о пустяках, он уединялся и клялся завладеть этой женщиной, ибо именно в этой мысли заключался единственный путь к любви. Желание стало торжественным договором, заключенным с самим собой, клятвой, подобной той, что давали арабы, среди которых он жил; ибо у них обет — это своего рода договор, заключенный с Судьбой; все будущее человека торжественно обязывается исполнить его, и все, даже его собственная смерть, рассматривается лишь как средство для достижения единственной цели.

Молодой человек мог бы сказать себе: «Как бы мне хотелось иметь герцогиню в качестве любовницы!» или «Если бы герцогиня де Ланже испытывала чувства к мужчине, он был бы очень удачливым негодяем!» Но генерал сказал: «Я возьму мадам де Ланже в качестве любовницы». И если мужчина принимает такую идею, когда его сердце никогда прежде не было тронуто, и любовь становится для него своего рода религией, он и не подозревает, в какой ад он ступил.

Арман де Монтриво внезапно сбежал и вернулся домой в первом же приступе лихорадки первой любви, которую он когда-либо знал. Когда человек сохраняет все свои юношеские убеждения, иллюзии, откровенность и импульсивность до среднего возраста, его первым побуждением, так сказать, является протянуть руку, чтобы взять желаемое; чуть позже он понимает, что между ними образовалась пропасть, и что преодолеть её практически невозможно. Его охватывает какое-то детское нетерпение, он хочет этого ещё больше, дрожит или плачет. Поэтому на следующий день, после самых бурных размышлений, которые когда-либо терзали его разум, Арман де Монтриво обнаружил, что находится под игом чувств, и его рабство ещё больше усугубляется любовью.

Женщина, к которой он вчера относился с таким пренебрежением, превратилась в священную и ужасающую силу. Отныне она должна была стать его миром, его жизнью. Величайшая радость, острая боль, которые он когда-либо испытывал, померкли перед мимолетным воспоминанием о малейшем чувстве, вызванном ею. Самые быстрые перемены во внешней жизни человека затрагивают лишь его интересы, в то время как страсть вызывает полное отвращение к чувствам. И так в тех, кто живет чувствами, а не личными интересами, в тех, кто действует, а не рассуждает, в тех, кто полон оптимизма, а не оптимизма, любовь совершает полную революцию.

В одно мгновение, одним лишь отражением, Арман де Монтриво стёр из памяти всю свою прошлую жизнь.

Двадцать раз он спрашивал себя, как мальчик: «Идти или нет?», и наконец оделся, пришел в отель де Ланже около восьми часов вечера и был впущен. Ему предстояло увидеть женщину — ах! не ту женщину — того самого идола, которого он видел вчера, среди света, свежую, невинную девушку в вуали, шелковых кружевах и платке. Он ворвался к ней, чтобы признаться в любви, словно это был вопрос первого выстрела на поле боя.

Бедный послушник! Он обнаружил свою неземную сифиду, облаченную в искусно украшенный коричневый кашемировый халат, лениво растянувшуюся на диване в тускло освещенном будуаре. Мадам де Ланже даже не встала, от нее не было видно ничего, кроме лица; волосы были распущены, но собраны платком. Рука указала на место, рука, которая казалась Монтриво белой, как мрамор, в мерцающем свете единственной свечи в дальнем углу комнаты, и голос, мягкий, как этот свет, произнес:

«Если бы это был кто-то другой, господин маркиз, друг, с которым я мог обойтись без формальностей, или просто знакомый, к которому я испытывал лишь незначительный интерес, я бы закрыл перед собой дверь. Я крайне плохо себя чувствую».

«Я пойду», — сказал себе Арман.

«Но я не знаю, как это может быть, — продолжила она (и простой воин объяснил блеск ее глаз лихорадкой), — возможно, это было предчувствие вашего любезного визита (и никто не может лучше меня оценить вашу оперативность), но туман в моей голове рассеялся».

«Тогда могу я остаться?»

«О, мне было бы очень жаль отпускать вас. Сегодня утром я сказал себе, что вряд ли я произвел на вас хоть малейшее впечатление, и что, скорее всего, вы восприняли мою просьбу как одно из тех банальных блюд, которыми парижане щедро угощают себя при каждом удобном случае. И я заранее простил вашу неблагодарность. Путешественник из пустыни не должен знать, насколько эксклюзивны наши дружеские отношения в Фобуре».

Слова, произнесенные полупшепотом, слетали одно за другим, словно отягощенные радостью, которая, по видимому, и привела их к ее губам. Герцогиня хотела в полной мере насладиться головной болью, и ее догадки полностью оправдались. Генерал, бедняга, был действительно расстроен притворной скорбью дамы. Подобно Крильону, слушающему рассказ о Распяттии, он был готов выхватить меч, чтобы остановить этот приступ. Как мог мужчина осмелиться говорить в этот момент этой страдающей женщине о любви, которую она внушала? Арман уже чувствовал, что было бы абсурдно прямо в лицо объявлять о любви женщине, которая намного выше других. Одной лишь мыслью пришло понимание тонкостей чувств, потребностей души. Любить: что это, как не уметь просить, выпрашивать милостыню, ждать? А что касается любви, которую он чувствовал, разве он не должен был доказать ее? Его язык был нем, он был застывшим от условностей благородного Фобура, от величия болезненной головной боли, от застенчивости любви. Но никакая сила на земле не могла скрыть его взгляд; жар и бесконечность пустыни пылали в глазах, спокойных,

как у пантеры, под веками, которые так редко опускались. Герцогиня наслаждалась этим пристальным взглядом, окутывавшим ее светом и теплом.

«Мадам герцогиня, — ответил он, — боюсь, я не совсем точно выражаю свою благодарность за вашу доброту. В данный момент у меня есть лишь одно желание — я хотел бы иметь возможность избавить вас от боли».

«Позвольте мне это снять, мне сейчас слишком жарко», — сказала она, грациозно отбросив в сторону... подушка, которая покрывала ее ноги.

«Мадам, в Азии ваши ноги стоили бы около десяти тысяч пайеток». «Это комплимент от путешественницы!» — улыбнулась она.

Бойкая леди с удовольствием вовлекала грубоватого солдата в лабиринт бессмыслицы, банальностей и пустых разговоров, в котором он маневрировал, используя военный язык, подобно тому, как принц Карл мог бы действовать в непосредственной близости от Наполеона. Она с озорством наблюдала за степенью его увлечения по количеству глупых речей, вырванных из новичка, которого она шаг за шагом вела в безнадежный лабиринт, намереваясь оставить его там в смятении. Сначала она смеялась над ним, но тем не менее ей нравилось заставлять его забыть, как быстро летит время.

Длительность первого визита часто воспринимается как комплимент, но Арман не имел подобных намерений. Знаменитый исследователь провел час в беседе на самые разные темы, не сказав ничего, что хотел сказать, и чувствуя себя лишь инструментом, на котором эта женщина играла, когда она встала, выпрямилась, сняла платок с волос, обернула его вокруг шеи, оперлась локтем на подушки, оказала ему честь полного исцеления и позвонила, чтобы попросить свет. Самым изящным движением она обрела полное спокойствие. Она повернулась к господину де Монтриво, от которого только что вытянула откровенный разговор, который, казалось, глубоко ее заинтересовал, и сказала:

«Ты пытаешься выставить меня в дурном свете, убеждая, что никогда не любил. Это великое мужское притворство по отношению к нам. И мы всегда в это верим! Из чистой вежливости. Разве мы не знаем, чего ожидать от этого для себя? Где тот человек, который нашел хотя бы один шанс потерять свое сердце? Но ты любишь обманывать нас, а мы, бедные глупые создания, покоряемся твоему обману; ведь твое лицемерие — это, в конце концов, дань превосходству наших чувств, которые полны чистоты».

Последние слова были произнесены с презрительной гордостью, от которой у неопытного влюбленного возникло чувство...

Словно никчемный тюк, брошенный в бездну, герцогиня была ангелом, парящим обратно в свои небеса.

«Черт возьми!» — подумал Арман де Монтриво, — «как же мне сказать этой дикой твари, что я ее люблю?»

Он уже двадцать раз ей об этом говорил; вернее, герцогиня двадцать раз читала его секрет в его глазах; и страсть в этом несомненно великом человеке обещала ей

развлечение и интерес к ее пустой жизни. Поэтому она с немалой ловкостью приготовилась возвести для него несколько редутов, которые он должен был бы захватить штурмом, прежде чем проникнуть в ее сердце. Монтриво должен был преодолевать одно препятствие за другим; он должен был стать игрушкой для ее капризов, подобно насекомому, которого дразнят дети, заставляя его перепрыгивать с одного пальца на другой, и которое, несмотря на все свои усилия, остается на одном месте из-за своего злобного мучителя. И все же герцогине доставляло неописуемое счастье видеть, что этот сильный мужчина сказал ей правду. Арман никогда не любил, как он говорил. Он собирался уйти, в плохом настроении на себя и еще больше в плохом настроении на нее; Но ей доставляло удовольствие видеть угрюмость, которую она могла развеять одним словом, взглядом или жестом.

«Придешь завтра вечером?» — спросила она. «Я иду на бал, но останусь дома ради тебя до десяти часов».

Монтриво провел большую часть следующего дня, выкуривая неопределенное количество сигар у окна своего кабинета, и таким образом пережил часы, пока не смог одеться и отправиться в отель де Ланже. Любому, кто знал величественные достоинства этого человека, было бы печально видеть, как он стал таким маленьким, таким недоверчивым к самому себе; разум, который мог бы пролить свет на неизведанные миры, сжался до размеров будуара женщины с гребнем. Даже он сам чувствовал, что уже настолько низко пал в своем счастье, что, чтобы спасти свою жизнь, он не мог признаться в любви ни одному из своих ближайших друзей. Разве в застенчивости влюбленного всегда нет следа стыда, а у женщины, возможно, определенного ликования по поводу уменьшения мужского достоинства? Действительно, если бы не множество подобных мотивов, как объяснить, почему женщины почти всегда первыми раскрывают тайну? — тайну, от которой, возможно, они вскоре устанут.

«Госпожа герцогиня не может принимать посетителей, месье, — сказал мужчина; — она одевается, она «Умоляет вас подождать ее здесь».

Арман расхаживал взад и вперед по гостиной, изучая ее вкус в мельчайших деталях. Он восхищался самой мадам де Ланже в выбранных ею предметах; они раскрывали ее жизнь еще до того, как он смог постичь ее личность и взгляды. Примерно через час герцогиня бесшумно вышла из своих покоев. Монтриво обернулся, увидел, как она, словно тень, промелькнула по комнате, и вздрогнул. Она подошла к нему не с буржуазным вопросом: «Как я выгляжу?». Она была уверена в себе; ее спокойные глаза ясно говорили: «Я наряжена, чтобы угодить вам».

Никто, кроме старой феи-крестной какой-нибудь принцессы в обличье женщины, не смог бы так обмотать изящную шею облаком вуали, чтобы ослепительная атласная кожа под ним сверкала сквозь блестящие складки. Герцогиня была ослепительна. Бледно-голубой цвет ее платья, повторявшийся в цветах в ее волосах, благодаря насыщенности оттенка, казалось, придавал объем хрупкой фигуре, ставшей слишком уж воздушной; ибо, когда она скользила к Арману, свободные концы ее шарфа развевались вокруг нее, напоминая этому доблестному воину о...

Яркие стрекозы, порхающие то над водой, то над цветами, с которыми они, кажется, смешиваются и сливаются.

«Я заставила тебя ждать», — сказала она тем тоном, который женщина всегда умеет придать своему голосу, обращаясь к мужчине, которому хочет угодить.

«Я бы терпеливо ждал целую вечность, — сказал он, — если бы был уверен, что найду столь прекрасное божество; но говорить о твоей красоте в твой адрес — это не комплимент; ничто, кроме поклонения, не может тебя тронуть. Позволь мне лишь поцеловать твой платок».

«О, боже!» — воскликнула она властным жестом. — «Я настолько уважаю вас, что готова протянуть вам руку».

Она протянула руку для его поцелуя. Женская рука, еще влажная после ароматной ванны, обладает мягкой свежестью, бархатистой гладкостью, которая вызывает волнующее покалывание от губ до души. И если мужчина испытывает влечение к женщине, и его чувства так же быстро ощущают удовольствие, как и его сердце полно любви, такой поцелуй, хотя и выглядит целомудренным, может вызвать настоящую бурю эмоций.

«Вы всегда будете так со мной поступать?» — смиренно спросил генерал, когда надавил. Эта опасная рука почтительно приложилась к его губам.

«Да, но здесь нам нужно остановиться», — сказала она, улыбаясь. Она села и, казалось, очень медленно надевала перчатки, пытаясь натянуть нерастянутый козленок на все пальцы сразу, наблюдая за месье де Монтриво; а он был очарован герцогиней и ее повторяющимися грациозными движениями.

«Ах! Вы были пунктуальны, — сказала она; — это правда. Мне нравится пунктуальность. Это вежливость королей, говорит Его Величество; но, на мой взгляд, от вас, мужчин, это самая почтительная лесть из всех. Разве не так? Просто скажите мне».

Она снова бросила на него косой взгляд, выражая свою коварную дружбу, ибо он онемел от счастья, от чистого счастья, несмотря на такие пустяки! О, герцогиня удивительно хорошо понимала *son metier de femme* — искусство и тайну бытия женщины; она с восхищением знала, как возвысить мужчину в его собственном достоинстве, когда он смирялся перед ней; как вознаграждать каждый шаг падения в сентиментальную глупость пустыми лестными словами.

«Вы никогда не забудете прийти в девять часов».

«Нет; но вы собираетесь на бал каждый вечер?»

«Знаю ли я?» — ответила она, слегка по-детски пожав плечами; этот жест означал, что она, безусловно, капризна, и что возлюбленный должен принять её такой, какая она есть. — «Кроме того, — добавила она, — какое тебе до этого дело? Ты будешь моим спутником».

«Сегодня вечером это будет сложно», — возразил он. — «Я одет неподобающе».

«Мне кажется, — высокомерно ответила она, — что если кто и имеет право жаловаться на ваш наряд, так это я.

Поэтому знайте, господин путешественник, что если я принимаю руку мужчины, то он тотчас же оказывается выше законов моды, и никто не осмелится его критиковать. Вы, я вижу, не знаете мира; и это только добавляет вам вам очарования».

И даже в процессе разговора она увлекла его в мелочность этого мира, пытаясь посвятить его в тщеславие светской дамы.

«Если она решится на глупость ради меня, я буду полным идиотом, если помешаю ей», — подумал Арман про себя. «Она, несомненно, ко мне равнодушна; а что касается мира, то он она не может ненавидеть больше, чем я. Так что, если ей так хочется, пусть идет мяч».

Герцогиня, вероятно, думала, что если генерал придет с ней и появится в бальном зале в сапогах и черном галстуке, никто не усомнится в том, что он безумно влюблен в нее. И генерал был очень рад, что королева моды решила пойти на компромисс ради него; надежда придала ему остроты ума. Он обрел уверенность, изложил свои мысли и взгляды; он не чувствовал той сдержанности, которая вчера тяготила его дух. Его речь была интересной и оживленной, полной тех первых откровений, которые так приятно было давать и получать.

Действительно ли мадам де Ланже была очарована его речью, или же она придумала эту очаровательную историю сама? Кокетство? Во всяком случае, она лукаво подняла глаза, когда часы пробили двенадцать.

«Ах! Из-за вас я опоздала на бал!» — воскликнула она, удивленная и раздраженная. Она забыла, как течет время.

В следующее мгновение она одобрила обмен удовольствиями улыбкой, которая заставила Сердце Армана внезапно подскочило.

«Я, конечно же, обещала мадам де Босеан», — добавила она. «Все меня ждут».

«Хорошо, идите».

«Нет, продолжайте. Я останусь. Ваши приключения на Востоке меня завораживают. Расскажите мне всю историю. вашей жизни. Мне нравится разделять трудности, с которыми сталкивается храбрый человек, и я чувствую их все, действительно чувствую!»

Она играла со своим шарфом, скручивая и разрывая его на куски отрывистыми, нетерпеливыми движениями. Движения, которые, казалось, свидетельствовали о внутреннем недовольстве и глубоких размышлениях.

«Мы ни на что не годны, — продолжала она. — Ах! Мы презренные, эгоистичные, легкомысленные создания. Мы можем наскучить себе развлечениями, и это все, на что мы способны. Ни одна из нас не понимает, что у нее есть своя роль в жизни. В старину во Франции женщины были благодетельными светилами; они жили, чтобы утешать скорбящих, поощрять высокие добродетели, вознаграждать художников и пробуждать новую жизнь благородными мыслями. Если мир стал таким мелочным, то это наша

вина. Вы заставляете меня ненавидеть бал и этот мир, в котором я живу. Нет, я не собираюсь отдавать ради вас многое».

Она разорвала свой шарф на куски, как ребенок играет с цветком, отрывая лепестки один за другим; а теперь она скомкала его в комок и отбросила в сторону. Она могла показать свою лебединую шею.

Она позвонила в звонок. «Я сегодня вечером не выйду», — сказала она лакею. Ее длинные голубые глаза робко обратились к Арману; и по выражению сомнения в нем он понял, что ему предстоит принять приказ о признании, о первой и великой милости. Последовала пауза, полная раздумий, прежде чем она заговорила с той нежностью, которая часто звучит в женских голосах, но не так часто в их сердцах. «У вас была тяжелая жизнь», — сказала она.

«Нет, — ответил Арман. — До сегодняшнего дня я не знал, что такое счастье».

«Значит, теперь ты это знаешь?» — спросила она, глядя на него сдержанным, проницательным взглядом.

«Что для меня отныне счастье, кроме этого — видеть тебя, слышать тебя?...

До сих пор я...» «Я знал только лишения; теперь я знаю, что могу быть несчастным...» «Довольно, достаточно», — сказала она. «Ты должен идти; уже за полночь. Давайте будем внимательны к внешнему виду. Люди не должны говорить о нас. Я не знаю точно, что скажу, но головная боль — добродушный друг и никому ничего не рассказывает». «Завтра вечером будет бал?»

«Думаю, вы к такой жизни привыкнете. Отлично. Да, мы снова пойдем завтра вечером».

Не было на свете человека счастливее Армана, когда он ушел от нее. Каждый вечер он приходил к мадам де Ланже в назначенное для него время, оговоренное негласным соглашением.

Это было бы утомительно, и для многих молодых людей, хранящих в своих сердцах множество таких сладких воспоминаний, было бы излишним следить за развитием истории шаг за шагом — за ростом романтических отношений, зарождавшихся в те часы, проведенные вместе, романтических отношений, полностью контролируемых женской волей. Если чувства развивались слишком быстро, она начинала спорить из-за какого-нибудь слова, а когда мысли застревали в голове, она обращалась к чувствам. Возможно, единственный способ проследить развитие таких отношений с Пенелопой — это отметить их внешние и видимые признаки.

Например, всего через несколько дней после первой встречи усердный генерал завоевал и сохранил право целовать ненасытные руки своей дамы. Куда бы ни шла мадам де Ланже, местье де Монтриво обязательно был на виду, пока люди в шутку не стали называть его «денщиком Ее Светлости». И он уже нажил врагов; другие завидовали ему и его положению. Мадам де Ланже достигла своей цели. Маркиз де Монтриво был в числе ее многочисленных поклонников и средством унижения тех, кто хвастался своим успехом в ее глазах, поскольку она публично отдавала ему предпочтение перед всеми ними.

«Безусловно, герцогиня отдает предпочтение господину де Монтриво». Произносится как мадам де Серизи.

А кто в Париже не знает, что значит, когда женщина «выражает предпочтение»? Таким образом, всё происходило по установленному порядку. Рассказы, которыми люди с удовольствием делились о генерале, представляли этого воина в столь грозном свете, что более хитрые спокойно отказались от своих притязаний на герцогиню и оставались в её свите лишь для того, чтобы использовать её имя и личность для улучшения своих отношений с некоторыми звёздами второй величины. А эти меньшие силы были рады завести любовника у мадам де Ланже. Герцогиня была достаточно проницательна, чтобы заметить эти дезертирства и договоры с врагом; и её гордость не позволила ей стать их жертвой. Как сказал М. де Талейран, один из её больших поклонников, она умела отомстить во второй раз, используя обоюдоострый клинок сарказма в отношениях между участниками этих «морганатических» союзов. Её насмешливое презрение немало способствовало укреплению её репутации как чрезвычайно умной женщины и человека, которого следует бояться. Её добродетельный характер укрепился, пока она развлекалась чужими секретами, а свои хранила при себе. И всё же, после двух месяцев усердной работы, она смутно, в глубине души, поняла, что месье де Монтриво ничего не понимает в тонкостях флирта в духе Фобур-Сен-Жермен; он воспринимал кокетство парижанки всерьёз.

«Вы его не приручите, дорогая герцогиня», — говорила старая Видам де Памье. «Это...» «Близнец орла; он унесет тебя в свое гнездо, если ты не будешь осторожен».

Тогда мадам де Ланже испугалась. Слова проницательного старого дворянина прозвучали как пророчество. На следующий день она попыталась превратить любовь в ненависть. Она была суровой, требовательной, раздражительной, невыносимой; Монтриво обезоружил ее ангельской добротой. Она так мало знала о великой щедрости широкой натуры, что добрые шутки, которыми были встречены ее первые жалобы, тронули ее до глубины души. Она искала повода для ссоры и находила доказательства привязанности. Она упорствовала.

«Если мужчина тобой боготворит, как он мог тебя обидеть?» — спросил Арманд.

— Ты меня не раздражаешь, — ответила она, внезапно став мягкой и покорной. — Но зачем тебе идти мне навстречу? Для меня ты должен быть всего лишь другом. Разве ты этого не понимаешь? Я бы хотела видеть в тебе инстинкты, тонкость настоящей дружбы, чтобы я не потеряла ни твоего уважения, ни удовольствия, которое доставляет мне твое присутствие.

«Всего лишь твоя подруга!» — воскликнул он. Ужасное слово вызвало электрический разряд в его мозгу. «На веру в эти счастливые часы, которые ты мне даруешь, я сплю и просыпаюсь в твоём сердце. И вот сегодня, без всякой причины, ты решила разрушить все тайные надежды, которыми я живу. Ты требовала от меня такой верности, ты так много говорила о своем ужасе перед женщинами, состоящими лишь из капризов; и теперь ты хочешь, чтобы я понял, что, как и другие женщины здесь, в Париже, ты питаешь страсти и ничего не знаешь о любви? Если так, то почему ты потребовала от меня жизни? Почему ты приняла ее?»

«Я был неправ, мой друг. О, как же неправильно женщине поддаваться такому опьянению, когда...» Она не должна и не может вернуться.

«Понимаю. Вы просто кокетничали со мной, и...»

«Кокетничество?» — повторила она. «Я ненавижу кокетство. Кокетка Арман дает обещания многим, но никому не отдается; а женщина, которая сдерживает такие обещания, — распутница».

Я думала, что поняла наш кодекс. Но быть меланхоличной с юмористами, веселой с легкомысленными и политкорректной с амбициозными душами; слушать болтуна с явным восхищением, говорить о войне с солдатом, восторженно рассуждать с филантропами о благе нации и давать каждому свою маленькую порцию лести — мне кажется, это такая же необходимость, как одежда, бриллианты и перчатки или цветы в волосах. Такие разговоры — моральный аналог туалета. Вы берете его и откладываете вместе с головным убором с перьями. Вы называете это кокетством? Да я никогда не относилась к вам так, как ко всем остальным. С вами, мой друг, я искренна. Разве я всегда не разделяла ваши взгляды, и разве я не всегда была совершенно счастлива, когда вы убеждали меня после обсуждения? Короче говоря, я люблю вас, но только так, как может любить благочестивая и чистая женщина. Я все обдумала. Я замужем, Арман. Мой образ жизни с господином де Ланже дает мне свободу отдавать свое сердце; но закон и обычаи не оставляют мне права распоряжаться своей личностью. Если женщина теряет свою честь, она становится изгоем в любом социальном положении; и я еще не встречал ни одного мужчины, который бы осознавал все, чего от него требуют наши жертвы в таком случае. Совсем иначе. Любой мог предвидеть разрыв между мадам де Босеан и господином д'Ажуда (ведь он, кажется, собирается жениться на мадам де Рошфид), этот роман ясно показал мне, что именно эти жертвы со стороны женщины почти всегда являются причиной предательства мужчины. Если бы ты любил меня искренне, ты бы какое-то время держался подальше. — Теперь я отложу ради тебя все тщеславия; разве не в этом дело? Что-нибудь? Что только люди не скажут о женщине, к которой ни один мужчина не привязывается? О, она бессердечная, безмозглая, бездушная; и более того, лишена обаяния! Кокетки меня не пощадят. Они лишат меня тех самых качеств, которые их позорят. Пока моя репутация в безопасности, какое мне дело, если мои соперники отрицают мои достоинства? Они, конечно же, их не унаследуют. Ну же, мой друг, отдай что-нибудь ради той, кто так много жертвует ради тебя. Приезжай не так часто; я все равно буду тебя любить.

«Ах!» — воскликнул Арман, и в его словах и тоне звучала глубокая ирония, свойственная раненому сердцу. «Любовь, как говорят писатели, питается лишь иллюзиями. Ничто не может быть правдивее, я вижу; от меня ожидают, что я буду воображать, что меня любят. Но вот! — есть мысли, подобные ранам, от которых нет исцеления. Моя вера в тебя была одной из последних, оставшихся у меня, и теперь я понимаю, что на этой земле больше не во что верить».

Она начала улыбаться.

«Да, — продолжал Монтриво дрожащим голосом, — эта католическая вера, в которую вы хотите меня обратить, — ложь, которую люди создают сами для себя; надежда — ложь за счет будущего; гордость — ложь между нами и нашими

ближними; а жалость, благоразумие и ужас — хитрая ложь. И теперь мое счастье — еще одно лживое заблуждение; от меня ожидают, что я буду обманывать себя, буду готов отдавать золотые монеты за серебро до конца. Если вы так легко обходитесь без моих визитов; если вы не можете признать меня ни другом, ни возлюбленным, значит, я вам безразличен! И я, бедный дурак, говорю это себе, знаю это и люблю вас!»

«Но, боже мой, бедный Арман, ты совсем впал в ярость!»

«Я погружаюсь в страсть?»

«Да. Вы считаете, что весь вопрос остаётся открытым, потому что я прошу вас быть осторожными».

В глубине души она радовалась гневу, который вспыхнул в глазах её возлюбленного. Даже мучая его, она критиковала его, наблюдая за каждым малейшим изменением на его лице. Если бы генералу так не повезло проявить великодушие без обсуждения (что иногда случается с некоторыми наивными душами), он был бы изгнан навсегда, обвинен и осужден за неумение любить.

Большинство женщин не возражают против того, чтобы нарушались их представления о добре и зле. Разве они не льстят себе, думая, что никогда не уступают, кроме как силой? Но Арман был недостаточно сведущ в подобных учениях, чтобы разглядеть ловушку, искусно расставленную для него герцогиней. В этом сильном, влюбленном мужчине было так много от ребенка.

«Если всё, чего вы хотите, — это сохранить видимость благополучия, — начал он своей простотой, — я готов...» —

«Просто чтобы сохранить видимость приличия!» — вмешалась дама; «да и что вы можете об этом думать?» «Я? Разве я дал вам хоть малейший повод предположить, что я могу быть вашим?»

«А о чём ещё мы говорим?» — спросил Монтриво.

«Месье, вы меня пугаете!... Нет, простите. Спасибо», — холодно добавила она; «спасибо, Арман. Вы своевременно предупредили меня о неосторожности; совершенно неосознанной, поверьте, мой друг. Вы умеете терпеть, говорите вы. Я тоже умею терпеть. Мы какое-то время не будем видеться; а потом, когда нам обоим удастся хоть немного успокоиться, мы подумаем о том, как обрести счастье». «Одобрено всем миром. Я молод, Арман; человек без такта мог бы соблазнить двадцатичетырехлетнюю женщину на множество глупых, безрассудных поступков ради себя. Но ты! Ты будешь моим другом, пообещай мне это!»

«Двадцатичетырехлетняя женщина, — ответил он, — знает, что делает».

Он сел на диван в будуаре и подпер голову руками.

«Вы меня любите, мадам?» — наконец спросил он, подняв голову и повернув лицо к себе. Решимость нависла над ней. «Скажите прямо: да или нет!»

Его прямой вопрос расстроил герцогиню больше, чем угроза самоубийства; в самом деле, женщину XIX века не стоит пугать этой избитой уловкой, меч перестал быть частью мужского костюма. Но разве в движении век и ресниц, в сужении взгляда, в

подергивании губ нет чего-то, что передает тот ужас, который они выражают с такой яркой магнетической силой?

«Ах, если бы я был свободен, если бы...»

«О! Неужели только ваш муж стоит у вас на пути?» — радостно воскликнул генерал, расхаживая взад-вперед по будуару. «Дорогая Антуанетта, я обладаю большей абсолютной властью, чем самодержец всяя Руси. У меня есть договор с Судьбой; я могу по своему желанию ускорить или замедлить судьбу людей, как вы меняете стрелки часов. Если вы можете управлять ходом судьбы в нашей политической системе, это просто означает (не так ли?), что вы понимаете все ее тонкости. Вы скоро будете свободны, и тогда вам нужно будет помнить о своем обещании».

«Арман!» — воскликнула она. — «Что ты имеешь в виду? Боже мой! Можешь ли ты представить, что я стану добычей за преступление? Ты хочешь убить меня? Да что ты можешь быть религиозным человеком! Что касается меня, я боюсь Бога. Возможно, господин де Ланже дал мне повод ненавидеть его, но я не желаю ему никакого зла».

М. де Монтриво сделал татуировку на мраморном камине и лишь спокойно посмотрел на даму.

«Дорогой, — продолжила она, — уважай его. Он меня не любит, он ко мне не добр, но у меня есть обязанности по отношению к нему. Чего бы я только не сделала, чтобы предотвратить бедствия, которыми ты ему угрожаешь? — Послушай, — продолжила она после паузы, — я больше ни слова не скажу о расставании; ты будешь приходить сюда, как и раньше, и я по-прежнему буду целовать тебя в лоб. Если я откажусь один или два раза, это будет чистой кокеткой, и это действительно так. Но давай пойдем друг друга, — добавила она, когда он подошел ближе. — Ты позволишь мне увеличить число моих спутников; принимать еще больше посетителей по утрам, чем прежде; я намерена быть вдвое более легкомысленной; я намерена использовать тебя, по всей видимости, очень плохо; притвориться, что мы расстались; ты должен приходить не так часто, а потом...»

Пока она говорила, она позволила ему обнять ее за талию, Монтриво крепко прижимал ее к себе, и ей, казалось, доставляло невероятное удовольствие, которое женщины обычно испытывают в таком тесном контакте, предвещающая блаженство более тесного союза. А затем, несомненно, она хотела завоевать его доверие, поэтому поднялась на цыпочки и прижалась лбом к пылающим губам Армана.

«И тогда, — закончила за нее Монтриво, — ты не должна говорить мне о своем муже. Ты не должна больше думать о нем».

Г-жа де Ланже некоторое время молчала.

«По крайней мере, — сказала она после значительной паузы, — по крайней мере, ты будешь делать всё, что я пожелаю, без ворчания, ты не будешь шалить; скажи мне об этом, мой друг? Ты хотел меня напугать, не так ли? Ну же, признайся в этом?... Ты слишком хорош, чтобы когда-либо думать о преступлениях. Но разве у тебя могут быть секреты, о которых я не знаю? Как ты можешь управлять Судьбой?»

«Теперь, когда ты подтвердишь дар сердца, который уже мне преподнесла, я слишком счастлив, чтобы точно знать, как тебе ответить. Я могу тебе доверять, Антуанетта; у меня не будет никаких подозрений, никакой необоснованной ревности к тебе. Но если случай освободит тебя, мы будем едины...»

«Несчастный случай, Арман?» (С этим изящным поворотом головы, который, кажется, говорит о многом, жестом, который такие женщины, как герцогиня, могут использовать в неформальной обстановке, подобно тому как великая певица может использовать свой голос.) «Чисто случайность», — повторила она. «Запомните это. Если с господином де Ланже что-нибудь случится по вашей вине, я никогда не стану вашей».

И вот они расстались, довольные друг другом. Герцогиня заключила договор, который позволял ей словами и делами доказывать миру, что месье де Монтриво не является её любовником. А что касается его, хитрая герцогиня поклялась измотать его. Он не должен был получить от неё ничего, кроме мелких уступок, вырванных в ходе состязаний, которые она могла прекратить по своему желанию. Она так искусно отменяла вчерашние решения, так искренне стремилась оставаться формально добродетельной, что чувствовала, будто в предварительных этапах, полных опасностей для женщины, менее уверенной в своей уверенности в себе, нет ни малейшей опасности. В конце концов, герцогиня была практически разлучена со своим мужем; давно аннулированный брак не был большой жертвой ради ее любви.

Монтриво, со своей стороны, был вполне счастлив получить хоть какое-то обещание, обрадовавшись раз и навсегда отбросить все угрызения совести, связанные с супружеской верностью, все ее оправдания за отказ от его любви. Он немного продвинулся вперед и поздравил себя. И на какое-то время он несправедливо воспользовался с таким трудом завоеванными правами. Будучи еще совсем юным, он отдался всей той детской непосредственности, которая делает первую любовь цветком жизни. Он снова стал ребенком, изливая всю свою душу, все подавленные силы, которые дала ему страсть, на ее руки, на ослепительный лоб, который казался ему таким чистым; на ее светлые волосы; на кудри, к которым прижались его губы. И герцогиня, на которую его любовь излилась подобно потоку, была побеждена магнетическим влиянием тепла своего возлюбленного; она колебалась, прежде чем начать ссору, которая должна была разлучить их навсегда. Она была женщиной в большей степени, чем думала, это хрупкое создание, в своем стремлении примирить требования религии с постоянно меняющимися ощущениями тщеславия, с тем подобием удовольствия, которое сводит с ума парижанку. Каждое воскресенье она ходила на мессу; она никогда не пропускала службы; затем, когда наступал вечер, она погружалась в опьяняющее блаженство подавленного желания. Арман и мадам де Ланже, подобно индуистским факирам, находили награду за свою воздержанность в искушениях, которые оно порождало. Возможно, герцогиня в конце концов превратила любовь в братские ласки, достаточно безобидные, как это могло показаться остальному миру, в то время как они заимствовали крайности деградации из вседозволенности ее мыслей. Как иначе объяснить непостижимую тайну ее постоянных колебаний? Каждое утро она предлагала. Она запирала дверь перед маркизом де Монтриво; каждый вечер, в назначенный час, она попадала под очарование его присутствия. Сначала она

томила в обороне, затем становилась менее грубой. Ее слова были сладкими и успокаивающими. Они были любовниками — только любовники могли быть такими. Для него герцогиня демонстрировала свой самый искрометный ум, свои самые пленительные уловки; и когда, наконец, она воздействовала на его чувства и душу, она могла пассивно подчиняться его яростным ласкам, но у нее был предел страсти; и как только он достигал его, она гневалась, если он терял контроль над собой, и делала вид, что собирается перейти черту. Ни одна женщина на земле не может выдержать последствий отказа без какой-либо мотивации; нет ничего естественнее, чем поддаться любви; поэтому мадам де Ланже немедленно возвела вторую линию укреплений, крепость, которую было сложнее захватить, чем первую. Она внушала ужасы религии. Ни один Отец Церкви, каким бы красноречивым он ни был, не защищал дело Божье лучше, чем герцогиня.

Гнев Всевышнего никогда не был оправдан лучше, чем её голосом. Она не использовала проповеднических банальностей, не прибегала к риторическим уловкам. Нет. У неё была своя собственная «кафедральная дрожь». На самые пламенные мольбы Армана она отвечала заплаканным взглядом и жестом, в котором выражалась ужасающая полнота эмоций. Она заткнула ему рот мольбой о милосердии. Она не хотела слышать ни слова больше; если бы услышала, то должна была бы сдаться; и лучше смерть, чем преступное счастье.

«Разве неповиновение Богу — это пустяк?» — спросила она его, к голосу которой возвращался слабеющий голос в муках внутренней борьбы, в которой, казалось, прекрасной актрисе было трудно сохранять самообладание. «Я бы пожертвовала обществом, я бы с радостью отдала за тебя весь мир; но очень эгоистично с твоей стороны просить у меня всю мою загробную жизнь ради мгновения удовольствия. Ну же! Разве ты не счастлив?» — добавила она, протягивая руку; и, конечно же, в своем небрежном туалете этот вид доставлял утешение ее возлюбленному, который и воспользовался этим сполна.

Иногда, руководствуясь политическими соображениями, чтобы удержать мужчину, чья пылкая страсть вызывала у нее невиданные ранее чувства иногда из-за слабости, она позволяла ему украдкой поцеловать ее; и тут же, притворяясь испуганной, она краснела и выгоняла Армана с дивана, как только диван становился опасным местом.

«Твои радости — это грехи, которые я должен искупить, Арман; за них нужно заплатить покаянием, и «Раскаяние», — воскликнула она.

А Монтриво, оказавшись теперь всего в двух креслах от этой аристократки в юбке, предался богохульству и обрушился с ругательствами на Провидение. Герцогиня рассердилась на это. раз.

«Мой друг, — сухо сказала она, — я не понимаю, почему ты отказываешься верить в Бога, ведь в человека невозможно верить. Тише, не говори так. У тебя слишком великодушная натура, чтобы поддаться их либеральной чепухе с её претензией на отмену Бога».

Теологические и политические споры действовали на Монтриво как холодный душ; он успокоился; он не мог вернуться к любви, когда герцогиня разжигала его гнев,

внезапно отправив его за тысячу миль от будуара, чтобы обсудить теории абсолютной монархии, которые она защищала с восхищением. Немногие женщины осмеливаются быть демократами; позиция защитницы демократии едва ли совместима с тираническим женским господством. Но часто, с другой стороны, генерал встряхивал свою гриву, отбрасывая политику с лвиным рычанием и ударами по бокам и набрасываясь на свою добычу; он больше не был способен выносить такое разногласие между сердцем и разумом на большие расстояния; он возвращался, ужасаясь любви, к своей госпоже. И она, если чувствовала, что ее фантазия разгорается до опасной точки, знала, что пора покинуть будуар; Она вышла из этой атмосферы, переполненная желаниями, которые вдыхала с каждым мгновением, садилась за пианино и пела самые изысканные песни современной музыки, тем самым сбивая с толку физическое влечение, которое порой не проявляло к ней никакой пощады, хотя она была достаточно сильна, чтобы с ним бороться.

В такие моменты она была чем-то возвышенным в глазах Армана; она не притворялась, она была искренней; несчастный влюбленный был убежден, что она любит его. Ее эгоистичное сопротивление обмануло его, заставив поверить, что она чистая и святая женщина; он смирился; он говорил о платонической любви, этот артиллерист!

Когда мадам де Ланже достаточно поиграла с религией в своих целях, она снова сделала это ради Армана.

Она хотела вернуть его к христианскому мировоззрению; она достала свое издание «Джени христианства», адаптированное для военных. Монтриво раздражался; его бремя было тяжелым. О! И тут, охваченная духом противоречия, она начала вдалбливать ему в уши религиозные слова, чтобы посмотреть, не избавит ли ее Бог от этого жениха, ибо настойчивость этого человека начинала ее пугать. И в любом случае она была рада затянуть любую ссору, если было справедливо держать спор на моральной почве неопределенное время; материальная борьба, которая следовала за ней, была гораздо опаснее.

Но если время ее противостояния на основании закона о браке можно считать «цивилизованной эпохой» этой сентиментальной войны, то последующий этап, который можно считать «религиозной эпохой», также пережил кризис и, как следствие, снижение остроты.

Однажды вечером Арман, случайно оказавшись дома очень рано, застал месье аббата Гондрана, духовного наставника герцогини, расположившегося в кресле у камина. Он выглядел так, как и следовало ожидать от духовного наставника, переваривая ужин и обсуждая грехи кающейся грешницы. В манерах священника чувствовалась величественность, подобающая высокопоставленному церковному сановнику; епископский фиолетовый оттенок уже проступал в его одежде. При виде его свежего, хорошо сохранившегося цвета лица, гладкого лба и аскетического выражения губ, лицо Монтриво необычайно потемнело; он не произнес ни слова под злобным взглядом собеседника и не поприветствовал ни даму, ни священника. Несмотря на то, что он был любовником, Монтриво не был лишен порядочности; поэтому несколько взглядов, которыми он обменялся с назначенным епископом,

подсказали ему, что именно он является настоящим фальсификатором арсенала угрызений совести герцогини.

То, что амбициозный аббат может контролировать счастье человека с таким вспыльчивым характером, как у Монтриво, да еще и коварными способами! Эта мысль яростно вырвалась из его глаз, он сжал кулаки. Он сжал кулаки и начал нервно расхаживать взад-вперед; но когда он вернулся на свое место, намереваясь устроить сцену, одного взгляда герцогини было достаточно. Он замолчал.

Любую другую женщину оттолкнуло бы мрачное молчание её возлюбленного; с мадам де Ланже всё было совершенно иначе.

Она продолжила беседу с господином де Гондраном о необходимости восстановления Церкви в её былом великолепии. И говорила она блестяще. Она утверждала, что Церковь должна быть не только духовной, но и светской властью, изложив свою позицию лучше, чем это сделал аббат, и сожалея, что Палата пэров, в отличие от английской Палаты лордов, не имеет епископской коллегии. Тем не менее, аббат встал, уступил место генералу и попрощался, зная, что во время Великого поста он сможет ответить тем же. Что касается герцогини, поведение Монтриво настолько разбудило ее любопытство, что она едва поднялась, чтобы ответить на низкий поклон своего директора.

«Что с тобой, друг мой?»

«Да я терпеть не могу вашего аббата!»

«Почему вы не взяли книгу?» — спросила она, не обращая внимания на то, что говорит аббат, а затем закрыла дверь. Дверь, слышали вы ее или нет.

Генерал сделал паузу, поскольку жест, сопровождавший речь герцогини, еще больше усилил дерзость ее слов.

«Дорогая Антуанетта, спасибо тебе за то, что ты ставишь любовь выше Церкви; но, для...» Ради всего святого, позвольте мне задать один вопрос.

«О! Вы меня расспрашиваете! Я вполне готов. Вы же мой друг, не так ли? «Безусловно, это сможет открыть вам глубину моего сердца; вы увидите там только одно изображение».

«Вы рассказываете этому мужчине о нашей любви?»

«Он мой исповедник».

«Знает ли он, что я тебя люблю?»

«Господин де Монтриво, я думаю, вы не можете претендовать на то, чтобы разгадывать тайны исповеди?»

«Знает ли этот человек обо всех наших ссорах и моей любви к тебе?»

«Этот человек, месье, скажите Богу!»

«Опять же, Бог! Мне следовало бы быть одному в твоём сердце. Но оставь Бога одного там, где Он есть, ибо...» любовь к Богу и ко мне. Мадам, вы больше не будете ходить на исповедь, иначе...»

«Или?» — сладко повторила она.

«Или я никогда сюда не вернусь».

«Тогда уходи, Арманд. Прощай, прощай навсегда».

Она встала и направилась в будуар, даже не взглянув на Армана, который стоял, положив руку на спинку стула. Сколько времени он там простоял неподвижно, он сам так и не узнал. Душа внутри обладает таинственной способностью расширяться и сжиматься в пространстве. Он открыл дверь будуара. Внутри было темно. Слабый голос резко произнес:

«Я не звонила. Что заставило тебя прийти без приказа? Уходи, Сюжетта».

«Значит, вы больны», — воскликнул Монтриво.

«Встаньте, месье, и хотя бы на минуту выйдите из комнаты», — сказала она, звоня в звонок.

«Мадам герцогиня звонила, чтобы заказать свет?» — спросил лакей, входя со свечами. Когда влюбленные остались наедине, мадам де Ланже все еще лежала на своем ложе; она была так же молчалива и неподвижна, как если бы Монтриво там и не было.

«Дорогая, я был неправ», — начал он, в его голосе слышались нотки боли и возвышенной доброты. «Поистине, без веры я бы не принял тебя...»

«К счастью, вы осознаете необходимость совести», — сказала она жестким тоном. голосом, не глядя на него. «Благодарю тебя во имя Бога».

Генерала сломила её резкость; казалось, эта женщина могла стать для него либо сестрой, либо совершенно чужой. Он сделал отчаянный шаг к двери. Он оставит её навсегда, не сказав ни слова. Он был несчастен; а герцогиня смеялась про себя над душевными муками, гораздо более жестокими, чем старые судебные пытки. Но что касается ухода, то он не мог этого сделать. В любой кризисной ситуации женщина, так сказать, переполнена определенным количеством мыслей, которые ей хочется высказать; пока она не выразит их, она испытывает то же чувство, которое мы склонны испытывать при виде чего-то незавершенного. Мадам де Ланже не сказала всего, что было у нее на уме. Она продолжила свою притчу и сказала:

«У нас разные убеждения, генерал, мне больно об этом думать. Было бы ужасно, если бы женщина не могла верить в религию, которая позволяет нам любить за пределами могилы. Я отбрасываю христианские чувства; вы не можете их понять. Позвольте мне просто поговорить с вами о целесообразности. Разве вы запретили бы женщине при дворе причащаться, когда принято принимать таинство на Пасху? Люди, безусловно, должны что-то делать для своей партии. Либералы, что бы они ни хотели делать, никогда не уничтожат религиозный инстинкт. Религия всегда будет политической необходимостью. Вы бы взялись управлять нацией, помешанной на логике? Наполеон боялся попробовать; он преследовал идеологов. Если вы хотите помешать людям рассуждать, вы должны дать им что-то чувствовать. Поэтому давайте примем Римско-католическую церковь со всеми ее последствиями. И если мы хотим, чтобы Франция ходила на мессу, не следует ли нам начать с того, чтобы самим ходить

на нее? Религия, видите ли, Арман, — это связь, объединяющая все консервативные принципы, которые позволяют богатым жить спокойно». Религия и права собственности тесно связаны. Безусловно, гораздо лучше руководить нацией, опираясь на идеи морали, чем на страх перед эшафотом, как во времена Террора — единственного метода, с помощью которого ваша отвратительная революция могла заставить людей подчиняться. Священник и король — это значит вы, я и принцесса, моя соседка; и, одним словом, интересы всех честных людей, воплощенные в них. Вот, мой друг, будь так добр, чтобы принадлежать к своей партии, ты, который мог бы стать её Сциллой, если бы у тебя были хоть малейшие амбиции в этом направлении. Я сам ничего не знаю о политике; я рассуждаю, исходя из собственных чувств; но всё же я достаточно знаю, чтобы предположить, что общество было бы перевернуто с ног на голову, если бы люди постоянно ставили под сомнение его основы. —»

«Если так думают ваш двор и ваше правительство, мне вас жаль», — вспыхнул Монтриво. «Реставрация, мадам, должна была бы сказать, как Екатерина Медичи, когда услышала о поражении в битве при Дрё: „Хорошо; теперь мы пойдем в молитвенный дом“». 1815 год стал для вас битвой при Дрё. Подобно королевской власти тех дней, вы одержали победу фактически, но потерпели поражение по праву. Политический протестантизм возобладал над умами людей. Если вы не намерены издавать Нантский эдикт; или если, когда он будет издан, вы опубликуете его отмену; если вас однажды обвинят и осудят за отказ от Хартии, которая является всего лишь залогом, данным для защиты интересов, установленных при Республике, тогда революция восстанет вновь, ужасающая своей силой, и нанесет лишь один удар. Это будет не революция, которая отправится в изгнание; она — сама земля Франции. Люди умирают, но интересы народа не умирают... Эх, небеса! Что нам Франция, корона, законные монархи и весь мир? Пустые слова по сравнению с моим счастьем. Пусть они правят или будут свергнуты с трона, мне все равно. «Где я сейчас?» — В будуаре герцогини де Ланже, друг мой.

«Нет, нет. Больше никаких герцогинь, никаких Ланже; я с моей дорогой Антуанеттой».

«Окажете мне удовольствие остаться там, где вы сейчас находитесь», — сказала она, смеясь и толкаясь. Верните его обратно, но, правда, мягко.

— Значит, ты никогда меня не любила, — парировал он, и в его глазах сверкнула молния гнева.

«Нет, дорогая»; но «Нет» было равносильно «Да».

«Я — великий осёл», — сказал он, целуя ей руки. Грозная королева снова стала женщиной. — «Антуанетта, — продолжил он, положив голову ей на ноги, — ты слишком целомудренно нежна, чтобы рассказывать о нашем счастье кому-либо в этом мире».

«О!» — воскликнула она, быстро и грациозно поднимаясь на ноги. — «Ты великолепен!» «Простачка». И, не сказав больше ни слова, она убежала в гостиную.

«Что теперь?» — удивился генерал, даже не подозревая, что прикосновение его горящего лба вызвало у нее мгновенную электрическую волну, пробежавшую от ног до головы.

В ярости он последовал за ней в гостиную, где услышал божественно сладкие аккорды. Герцогиня сидела за пианино. Если учёный или поэт способен одновременно наслаждаться и понимать, направляя свой интеллект на это наслаждение без потери удовольствия, он осознаёт, что алфавит и фразеология музыки — всего лишь хитрые инструменты для композитора, подобно дереву и медной проволоке в руках исполнителя. Для поэта и учёного существует отдельная музыка, лежащая в основе двойственного выражения этого языка духа и чувств. *Andiamo mio ben* может вызывать слёзы радости или сочувственный смех по желанию певца; и нередко где-то в мире, какая-нибудь девушка, неспособная жить и нести тяжёлое бремя неведомой боли, какой-нибудь мужчина, чья душа вибрирует от трепета страсти, может взяться за музыкальную тему, и вот! для них открывается рай, или они находят для себя язык в какой-нибудь возвышенной мелодии, какой-нибудь песне, утраченной для мира.

Генерал слушал именно такую мелодию; таинственную музыку, неизвестную никому другому. уши, словно одинокая жалоба какой-то одинокой птицы, умирающей в одиночестве в девственном лесу.

«Боже мой! Что ты там играешь?» — спросил он дрожащим голосом.

«Прелюдия к балладе, которая, как я полагаю, называется «*Fleuve du Tage*» (Дневная река).»

«Я не знал, что на пианино можно играть такую музыку», — ответил он.

«Ах!» — воскликнула она и впервые посмотрела на него так, как женщина смотрит на любимого человека. — «И ты не знаешь, мой друг, что я люблю тебя, и что ты причиняешь мне ужасные страдания; и что я чувствую, что должна высказать свою боль, не выражая её слишком прямо словами. Если бы я этого не сделала, я бы сдалась... Но ты ничего не видишь».

«И ты меня не осчастливишь!»

«Арманд, я умру от горя завтра же».

Генерал резко отвернулся от нее и ушел. Но на улице он вытер слезы, которые не позволил пролиться.

Религиозный период длился три месяца. По истечении этого времени герцогиня устала от тщетных повторений; божество, связанное по рукам и ногам, было отдано её возлюбленному. Возможно, она боялась, что одними лишь разговорами о вечности сможет увековечить его любовь в этом мире и в загробном. Ради себя самой следует верить, что ни один мужчина не тронул её сердце, иначе её поведение было бы непростительным. Она была молода; до того времени, когда мужчины и женщины чувствуют, что не могут позволить себе терять время или ссориться из-за своих радостей, было ещё далеко. Она, несомненно, стояла на пороге не первой любви, а первого опыта блаженства любви. И из-за неопытности, из-за отсутствия болезненных

уроков, которые научили бы её ценить сокровище, излитое у её ног, она играла с ним. Ничего не зная о славе и восторге света, она была готова оставаться в тени.

Арман только начинал понимать эту странную ситуацию; он возлагал надежду на первое слово, произнесенное природой. Каждый вечер, уходя от мадам де Ланже, он говорил себе, что ни одна женщина не примет самые нежные, самые деликатные доказательства любви мужчины в течение семи месяцев, и не будет пассивно поддаваться легкомысленным требованиям страсти, чтобы в конце концов обмануть любовь. Он терпеливо ждал, когда солнце наберет силу, не сомневаясь, что получит первые плоды. Колебания замужней женщины и религиозные сомнения он вполне понимал. Он даже радовался этим битвам. Он принимал бессердечное кокетство герцогини за скромность; и он не хотел бы, чтобы было иначе. Поэтому ему нравилось наблюдать, как она придумывает препятствия; разве он постепенно не одерживал над ними победу? Разве каждая одержанная победа не увеличивала скудную сумму любовной близости, долгое время отвергаемой и, наконец, уступаемой с каждым признаком любви? Тем не менее, у него было столько времени, чтобы в полной мере насладиться сладостью каждой маленькой последующей победы, которой питается влюбленный, что это стало делом привычки. Что касается препятствий, то теперь их не было, кроме его собственного благоговения перед ней; ничто другое не оставалось между ним и его желанием, кроме прихотей той, которая позволяла ему называть ее Антуанеттой. Поэтому он решил потребовать большего, потребовать всего. Смущенный, как молодой влюбленный, который не смеет поверить, что его кумир может опуститься так низко, он долго колебался. Он пережил ужасные внутренние реакции. Намеченная цель была уничтожена одним словом, а определенные решения умерли в нем на пороге. Он презирал себя за свою слабость, и все же его желание оставалось невысказанным. Тем не менее, однажды вечером, после того как он посидел в мрачной меланхолии, он выдвинул яростное требование о своих незаконно законных правах. Герцогине не пришлось ждать просьбы своего раба, чтобы догадаться о его желании. Когда желания мужчины стали тайными? Разве женщины не обладают интуитивным пониманием значения тех или иных изменений выражения лица?

«Что! Ты больше не хочешь быть моим другом?» — перебила она, услышав первые слова, и божественный красный цвет, бурлящий, словно свежая кровь, под прозрачной кожей, придал блеск ее глазам. «В награду за мою щедрость вы хотите опозорить меня? Подумайте немного. Я сама много думала об этом, и всегда думаю за нас обоих. Существует такое понятие, как верность женщины, и мы не можем в ней поступиться, так же как вы не можете поступиться честью. Я не могу ослепить себя. Если я ваша, как, в каком бы то ни было смысле, я могу быть женой господина де Ланже? Можете ли вы потребовать от меня жертвы моего положения, моего ранга, всей моей жизни в обмен на сомнительную любовь, которая не могла терпеливо ждать семь месяцев? Что! Вы уже хотите лишить меня права распоряжаться собой? Нет, нет; вы не должны больше так говорить. Нет, ни слова больше. Не буду, я не могу вас слушать».

Мадам де Ланже подняла обе руки к голове, чтобы откинуть назад растрепанные локоны. Горячий лоб; она выглядела очень взволнованной.

«Вы приходите к слабой женщине с четко спланированным намерением. Вы говорите: „Некоторое время она будет говорить мне о своем муже, потом о Боге, а затем о неизбежных последствиях. Но я буду использовать и злоупотреблять властью, которую получу над ней; я сделаю себя незаменимым; все узы привычки, все заблуждения посторонних сделают меня; и наконец, когда наш союз будет считаться само собой разумеющимся всем миром, я стану хозяином этой женщины“. — Теперь будьте откровенны; это ваши мысли! О! Вы рассчитываете и говорите, что любите. Позор вам! Вы влюблены? Ах! В это я вполне верю! Вы хотите обладать мной, иметь меня в качестве своей любовницы, вот и все! Хорошо, тогда нет! Герцогиня де Ланже не опустится так низко. Жертвами вашего предательства могут стать простые буржуа — я, никогда! Ничто не дает мне уверенности в вашей любви. Вы говорите о моей красоте; я могу потерять все ее следы через шесть месяцев, как и эта дорогая Принцесса, моя соседка. Вы очарованы моим остроумием, моей грацией. Боже мой! Вы бы скоро привыкли к ним и к удовольствиям обладания. Разве те небольшие уступки, на которые я была достаточно слаба, чтобы пойти, не стали чем-то само собой разумеющимся за последние несколько месяцев? Однажды, когда придет разорение, вы не объясните мне причину ваших перемен, кроме короткого: «Я перестала вас любить». — Тогда положение, состояние, честь и все, что было у герцогини де Ланже, будут поглощены одной разочарованной надеждой. У меня будут дети, которые станут свидетелями моего позора, и...» Невольным жестом она прервала себя и продолжила: «Но я слишком добродушна, чтобы объяснять вам все это, когда вы знаете это лучше меня. Пойдемте! Останемся такими, какие мы есть. Мне очень повезло, что я все еще могу разорвать эти оковы, которые вы считаете такими прочными. Есть ли чтонибудь более героическое в том, чтобы прийти в отель де Ланже и провести вечер с женщиной, чья болтовня забавляет...» Ты? — женщина, которую ты принимаешь за игрушку? Да что ты, полдюжины молодых щеголей приходят сюда так же регулярно каждый день с трех до пяти. Они тоже очень щедры, полагаю? Я над ними смеюсь; они довольно спокойно терпят мою капризность и дерзость и заставляют меня смеяться; но что касается тебя, я отдаю тебе все сокровища своей души, а ты хочешь меня погубить, ты испытываешь мое терпение бесконечными способами. Тише, хватит, хватит, — продолжила она, видя, что он собирается что-то сказать, — у тебя нет сердца, нет души, нет чуткости. Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Хорошо, тогда — да. Я предпочту, чтобы ты принял меня за холодную, бесчувственную женщину, без благочестия в душе, даже без сердца, чем чтобы все остальные приняли меня за вульгарную особу и осудили на твою так называемую Удовольствия, от которых вы непременно устанете, и за это вас ждет вечное наказание. Ваша эгоистичная любовь не стоит таких жертв...»

Эти слова дают лишь очень скудное представление о речи, которую герцогиня произносила с быстрой многословностью, подобной игре на органе. Впрочем, ничто не мешало ей говорить еще долго, ибо единственным ответом бедного Армана на поток флейтовых звуков было молчание, наполненное мучительно болезненными мыслями. Он только начинал понимать, что эта женщина играет с ним; он инстинктивно догадывался, что преданная любовь, ответная любовь, не рассуждает и не подсчитывает последствия таким образом. Затем, услышав, как она упрекает его в

отвратительных мотивах, он почувствовал что-то вроде стыда, вспомнив, что бессознательно сам произвел эти расчеты. С ангельской честностью он заглянул внутрь себя, и самоанализ не обнаружил ничего, кроме эгоизма во всех его мыслях и мотивах, в ответах, которые он формулировал, но не мог произнести. Он был обличен в собственных чувствах. В отчаянии ему хотелось выпрыгнуть из окна. Эгоизм был невыносим.

Что же может сказать мужчина, если женщина не верит в любовь? — Позволь мне доказать, как сильно я тебя люблю. — Моё «я» всегда рядом.

Герои будуара в таких обстоятельствах могут следовать примеру примитивного логика, предшествовавшего пирронистам и отрицавшего движение. Монтриво не смог этого сделать. При всей своей смелости ему не хватало той точности, которая никогда не покидает знатока формул женской алгебры. Если так много женщин, и даже лучшие из женщин, становятся жертвами своего рода экспертов, которым простолюдины дают более грубое название, то, возможно, это потому, что эти эксперты — великие доказывающие истину, а любовь, несмотря на свою восхитительную поэзию чувств, требует немного больше геометрии, чем принято считать.

Герцогиня и Монтриво были похожи в этом — оба одинаково невежественны в любовных делах. Знания леди в теории были весьма скудны; на практике она ничего не знала; она ничего не чувствовала и размышляла обо всем. У Монтриво было мало опыта, он был совершенно невежествен в теории и чувствовал слишком много, чтобы вообще размышлять. Поэтому оба терпели последствия этой необычной ситуации. В тот решающий момент бесчисленные мысли в его голове могли свестись к формуле — «Подчинись мне...» — слова, которые кажутся ужасно эгоистичными женщине, для которой они не пробуждают никаких воспоминаний, не вызывают никаких идей. Тем не менее, он должен был сказать что-то. И более того, хотя ее колючие стрелы заставляли его кровь кипеть, хотя короткие фразы, которые она обрушивала на него одна за другой, были очень острыми, резкими и холодными, он должен был сдержаться, чтобы не потерять все из-за вспышки гнева.

«Госпожа герцогиня, я в отчаянии от того, что Бог не придумал другого способа для женщины подтвердить дар своего сердца, кроме как добавив к нему дар своей личности. Высокое значение, которое вы сами придаете этому дару, учит меня тому, что я не могу придавать ему меньшего значения. Если вы отдали мне свою самую сокровенную сущность и все свое сердце, как вы говорите, то какое значение имеет все остальное? И кроме того, если мое счастье означает столь болезненную жертву, давайте больше об этом не будем говорить. Но вы должны простить человека с сильным духом, если он чувствует себя униженным, будучи принятым за спаниеля».

Тон, которым было произнесено последнее замечание, возможно, напугал бы другую женщину; но когда женщина в нижней юбке позволяет обращаться к себе так, как к... Ни одна земная сила не может быть столь надменна, чтобы возвысить себя над всеми смертными и тем самым возвысить себя над ними.

«Господин маркиз, я в отчаянии от того, что Бог не придумал более благородного способа для человека подтвердить дар своего сердца, чем через проявление невероятно вульгарных желаний. Мы становимся рабами, когда отдаем себя телом и душой, но

человек ни к чему не привязан, принимая этот дар. Кто заверит меня, что любовь будет длиться вечно? Сама любовь, которую я мог бы проявлять к вам каждую минуту, чтобы лучше сохранить вашу любовь, может послужить вам причиной для того, чтобы покинуть меня. Я не хочу быть вторым изданием мадам де Бозен. Кто когда-нибудь узнает, что удерживает вас рядом с нами? Наша постоянная холодность сердца является причиной неугасаемой страсти у некоторых из вас; другие люди просят неустанной преданности, чтобы быть объектом обожания каждую минуту; одни — кротости, другие — тирании».

«В этом мире еще ни одна женщина по-настоящему не разгадала загадку мужского сердца».

Последовала пауза. Когда она заговорила снова, тоном она произнесла что-то другое.

«В конце концов, мой друг, ты не можешь помешать женщине дрожать при вопросе: „Продлится ли эта любовь вечно?“ Какими бы резкими ни были мои слова, страх потерять тебя заставляет меня их произносить. О, боже! Это не я говорю, дорогая, это разум; и как может кто-то, столь безумный, как я, быть разумным? По правде говоря, я совсем не такой».

Проникновенная ирония ее ответа перед концом сменилась самыми музыкальными акцентами, в которых женщина могла выразить искреннюю любовь. Слушать ее слова — значит в одно мгновение перейти от мученичества к небесам. Монтриво побледнел; и впервые в жизни он упал на колени перед женщиной. Он целовал подол юбки герцогини, ее колени, ее ноги; но ради чести Фобур-Сен-Жермен необходимо уважать тайны его будуаров, где многие готовы принять все, что может дать Любовь, не доказывая своей любви в ответ.

Герцогиня считала себя великодушной, когда позволяла себя обожать. Но Монтриво пребывала в неистовом восторге от того, что полностью отказалась от своей должности.

«Дорогая Антуанетта, — воскликнул он. — Да, ты права; я не позволю тебе больше сомневаться. Я тоже сейчас дрожу — боюсь, что ангел моей жизни покинет меня; как бы я хотел придумать какую-нибудь связь, которая бы навсегда привязала нас друг к другу».

«Ах!» — пробормотала она себе под нос, — «понимаете, я была права».

«Позвольте мне сказать всё, что я хочу сказать; одним словом я развею все ваши страхи. Слушайте! Если бы я вас покинул, я заслужил бы тысячу смертей. Будьте полностью моими, и я дам вам право убить меня, если я буду лгать. Я сам напишу письмо, в котором объясню некоторые причины, побудившие меня покончить с собой; вкратце, я соберу все необходимые документы. Вы должны хранить это письмо; в глазах закона оно будет достаточным объяснением моей смерти». Ты можешь отомстить и ничего не бояться ни от Бога, ни от людей.

«Какая польза мне от этого письма? Какой была бы моя жизнь, если бы я потеряла твою любовь? Если бы я хотела тебя убить, разве я не должна была бы быть готова последовать за тобой? Нет; спасибо за мысль, но мне не нужно это письмо. Разве я не

должна начать бояться, что ты был верен мне из-за страха?» А если человек знает, что ради украденного удовольствия ему придётся рисковать жизнью, разве это не покажется ему более заманчивым? Арман, то, о чём я тебя прошу, — это самое трудное, что мне предстоит сделать.

«Тогда чего же ты желаешь?»

«Ваше повиновение и моя свобода».

«Ах, Боже!» — воскликнул он. — «Я же ребёнок!»

«Непослушный, избалованный ребёнок», — сказала она, поглаживая его густые волосы, ведь его голова все еще лежала у нее на коленях. «Ах! И его любят гораздо больше, чем он думает, и все же он очень непослушен». Почему бы нам не остаться такими, какие мы есть? Почему бы не пожертвовать ради меня желаниями, которые причиняют мне боль? Почему бы не взять то, что я могу дать, когда это всё, что я могу честно дать? Разве ты не счастлива?

«О да, я счастлива, когда у меня не остается ни единого сомнения. Антуанетта, сомнения в любви — это своего рода смерть, не так ли?»

В одно мгновение он явил себя таким, какой он есть, каким бывают все люди под влиянием этой горячей лихорадки; он стал красноречивым, намекающим. И герцогиня вкусила удовольствия, которые она примирила со своей совестью посредством своего собственного, личного, иезуитского указа; любовь Армана подарила ей трепет интеллектуального возбуждения, которое по обычаю стало для нее столь же необходимым, как светское общество или опера. Чувствовать, что она обожаема этим человеком, который возвышался над другими мужчинами, чей характер ее пугал; обращаться с ним как с ребенком; играть с ним, как Поппея играла с Нероном — многие женщины, подобно женам короля Генриха VIII, заплатили за такое опасное наслаждение всей кровью в своих жилах. Мрачное предчувствие! Даже когда она отдала его прикосновение нежным, бледным, золотистым локонам и почувствовала тесное давление его руки, маленькой руки человека, чье величие она не могла не заметить; Даже играя с его темными, густыми локонами в том будуаре, где она правила как королева, герцогиня говорила себе:

«Этот человек способен убить меня, если хоть раз узнает, что я с ним играю».

Арман де Монтриво оставался с ней до двух часов ночи. С этого момента эта женщина, которую он любил, не была ни герцогиней, ни наваррянкой; Антуанетта, переодевшись, зашла так далеко, что стала выглядеть как женщина. В тот самый блаженный вечер, в самую сладкую прелюдию, которую когда-либо исполняла парижанка перед тем, что мир называет «сюрпризом», несмотря на все ее притворные застенчивости, которых она не испытывала, генерал увидел в ней всю девичью красоту. У него было какое-то оправдание для того, чтобы считать, что все эти бури капризов были лишь тучами, скрывающими небесную душу; что они должны подниматься одна за другой, подобно вуалям, скрывавшим ее божественное очарование. Герцогиня стала для него самой простой и девичьей любовницей; она была единственной женщиной в мире для него; И он ушел совершенно счастливым, потому что наконец-то заставил ее дать ему такие клятвы любви, что ему казалось

невозможным, чтобы отныне он не был ее мужем втайне, а ее выбор был одобрен Небесами. Арман медленно шел домой, обдумывая эту мысль с беспристрастностью человека, осознающего всю ответственность, которую на него возлагает любовь, и вкушающего сладость ее радостей. Он шел вдоль набережной, чтобы увидеть как можно больше неба; его сердце росло в нем; он хотел бы, чтобы границы небесного свода и земли расширились. Ему казалось, что его легкие вдыхают больше воздуха. В ходе самоанализа, идя по дороге, он поклялся любить эту женщину так преданно, чтобы каждый день ее жизни она находила прощение за свои грехи перед обществом в неизменном счастье.

Сладкие проблески жизни, когда жизнь полна! Человек, достаточно сильный, чтобы погрузить свою душу в краски одного чувства, испытывает бесконечную радость, когда перед ним открываются проблески пылкой жизни, в которой страсть не угасает до самого конца; и даже тогда это позволено. Некоторые мистики, пребывая в экстазе, созерцали Свет Божий. Любовь была бы ничем без веры в то, что она длится вечно; любовь крепнет благодаря постоянству. Именно так, полностью поглощенный своим счастьем, Монтриво понимал страсть.

«Мы принадлежим друг другу навсегда!»

Эта мысль была подобна талисману, исполняющему желания всей его жизни. Он не спрашивал, изменится ли герцогиня, не угаснет ли её любовь. Нет, он верил. Без этой добродетели у христианства нет будущего, и, возможно, она даже более необходима обществу. Впервые ему пришлось в голову осознать жизнь как чувство; до этого он жил действием, самым напряженным приложением человеческих сил, физической преданностью, как это можно назвать, солдата.

На следующий день г-н де Монтриво рано утром отправился в сторону Фобур Сен-Жермен. Он договорился о встрече в доме неподалеку от гостиницы «Ланже»; закончив дела, он отправился туда, как будто к себе домой. Спутником генерала оказался человек, к которому он испытывал отвращение всякий раз, когда встречал его в других домах. Это был маркиз де Ронкероль, чья репутация приобрела огромную популярность в парижских будуарах. Он был остроумным, находчивым и, что немаловажно, смелым; он задавал моду всем молодым людям в Париже. Как человек галантный, он вызывал зависть своими успехами и опытом; и в его случае не было недостатка ни в богатстве, ни в происхождении, качествах, которые придают ему в Париже такой блеск и репутацию законодателя моды.

«Куда вы направляетесь?» — спросил г-н де Ронкероль.

«Мадам де Ланже».

«Ах, да. Я забыл, что ты позволил ей тебя соблазнить. Ты тратишь на нее свои чувства, которые можно было бы гораздо лучше использовать в другом месте. Я мог бы рассказать тебе о десятке женщин из финансового мира, любая из которых в тысячу раз достойнее тебя, чем эта титулованная куртизанка, которая делает своим умом то, что менее искусственные женщины делают...»

— Что это такое, мой дорогой друг? — перебил Арман. — Герцогиня — ангел невинности.

Ронкероль начал смеяться.

— Раз уж так обстоят дела, дорогой мой, — сказал он, — мой долг — просветить тебя. Всего лишь слово; между нами нет ничего плохого. Герцогиня сдалась? Если да, то мне больше нечего сказать. Ну же, доверься мне. Нет смысла тратить время на то, чтобы прививать свою благородную натуру к этому неблагодарному роду, когда все твои надежды и старания окажутся напрасными.

Арман простодушно изложил общую картину своего положения, с большой тщательностью перечислив те ничтожные права, которые были так с трудом завоеваны. Ронкероль разразился таким бессердечным смехом, что любому другому это стоило бы жизни. Но по их манере говорить и смотреть друг на друга во время этого разговора под стеной, в уголке, почти таком же уединенном, как сама пустыня, было легко представить, что дружба между этими двумя мужчинами не знала границ и что никакая сила на земле не могла их разлучить.

«Дорогой Арман, почему ты не сказал мне, что герцогиня была для тебя загадкой? Я Вам бы дали небольшой совет, который мог бы должным образом укрепить ваш флирт. Вы должны знать, прежде всего, что женщины нашего Фобура, как и любые другие женщины, любят погружаться в любовь; но они стремятся обладать, а не быть объектом обладания. Они пошли на своего рода компромисс с человеческой природой. Кодекс их прихода дает им довольно широкую свободу действий, за исключением последнего прегрешения. Сладости, которыми наслаждается эта прекрасная герцогиня, — это лишь мелкие грехи, которые можно смыть в водах покаяния. Но если бы вы осмелились всерьез спросить о моральном грехе, которому вы, естественно, придаете первостепенное значение, вы бы увидели глубокое презрение, с которым дверь будуара и дома была бы немедленно заперта перед вами.

Нежная Антуанетта отбросила бы все воспоминания; вы были бы для нее лишь безликим символом. Она бы стерла ваши поцелуи, мой дорогой друг, с таким же равнодушием, как и совершала бы омовение. Она бы смывала любовь со своих щек, смывая румяна. Мы знаем таких женщин — чистокровных парижанок. Вы когда нибудь замечали, как по улице идет гризетт? Ее лицо — как картинка. Красивая шапочка, свежие щеки, аккуратные волосы, лукавая улыбка, а остальное почти без внимания. Разве это не соответствует жизни? Что ж, это и есть парижанка. Она знает, что будет видно только ее лицо, поэтому она посвящает все свои заботы, наряды и тщеславие своему разуму. Герцогиня такая же; для нее разум — это все. Она чувствует только своим интеллектом, ее сердце находится в мозгу, она своего рода интеллектуальный гурман, у нее голос разума. Мы называем таких жалких созданий «лаисами интеллекта». Вас обманули, как мальчика. Если вы сомневаетесь, вы можете получить доказательство сегодня вечером, сегодня утром, сегодня же. Подойдите к ней, попробуйте выполнить это требование в качестве эксперимента, настаивайте решительно, если вам откажут. Вы можете начать действовать, как покойный маршал Ришелье, и ничего не получить за свои старания.

Арман онемел от изумления.

«Ваше желание достигло точки, когда вы влюбились?»

«Я хочу заполучить её любой ценой!» — отчаянно воскликнул Монтриво.

«Хорошо. А теперь послушай. Будь таким же неумолимым, как она сама. Попытайся унижить её, задеть её тщеславие. Не пытайся тронуть её сердце или душу, а лишь нервы и темперамент женщины, ибо она и нервная, и лимфатическая система. Если тебе удастся разбудить в ней желание, ты в безопасности. Но ты должен отбросить эти свои романтические мальчишеские представления. Если, однажды завладев ею в своих орлиных когтях, ты уступишь хоть на шаг или отступишь, если ты хоть глазом не пошевел, если она подумает, что сможет вернуть себе превосходство над тобой, она выскользнет из твоих лап, как рыба, и ты никогда больше её не поймаешь. Будь непреклонен, как закон. Не проявляй больше милосердия, чем палач. Бей сильно, а потом бей ещё раз. Бей и продолжай бить, как будто ты её пинаешь. Герцогини сделаны из твёрдого материала, мой дорогой Арман; есть некая женская натура, которая смягчается лишь многократными ударами; и по мере того, как страдание развивает сердце...» Женщины такого рода, поэтому не жалеть розги — это акт милосердия. Вы проявляете настойчивость? Ах! Когда боль полностью расслабит ваши нервы и смягчит волокна, которые вы считаете такими податливыми и послушными; когда сморщенное сердце научится расширяться, сжиматься и биться под этим давлением; когда мозг капитулирует — тогда, возможно, страсть проникнет в стальные пружины этого механизма, который производит слезы, притворство, томление и тающие фразы; тогда вы увидите самый великолепный пожар (всегда предполагая, что дымоход загорится). Стальная женская система будет раскалена докрасна, как железо в кузнице; такой жар длится дольше любого другого, и Его сияние, возможно, перерастет в любовь.

«Тем не менее, — продолжил он, — у меня есть сомнения. И, в конце концов, стоит ли тратить столько сил на герцогиню? Между нами говоря, мужчина моего склада должен сначала взять ее под свою опеку и обучить; я бы сделал из нее очаровательную женщину; она породистая лошадь; тогда как вы двое, предоставленные сами себе, никогда не продвинетесь дальше азбуки. Но вы влюблены в нее, и сейчас вы, возможно, не разделяете моего мнения по этому поводу... Приятного вам времяпрепровождения, мои дети», — добавил Ронкероль после паузы.

Затем, со смехом: «Я сам выбрал себе легкомысленных красавиц; они, во всяком случае, нежны, в их любви проявляется естественная женщина без всяких ваших светских приправ. Женщина, которая торгуется за себя, мой бедный мальчик, и хочет лишь вызвать любовь! Что ж, пусть она будет как дополнительная лошадь — для показухи. Матч между диваном и исповедальней, черным и белым, королевой и конем, добросовестными угрызениями совести и удовольствием — это необычайно забавная шахматная партия. И если мужчина знает эту игру, пусть он и не будет таким уж маленьким распутником, он выигрывает в три хода. Теперь, если бы я взялся за такую женщину, я бы начал с целенаправленного намерения...» Его голос понизился до шепота над последними словами, прозвучавшими на ухо Арману, и он ушел, прежде чем тот успел ответить.

Что касается Монтриво, то он в прыжке перепрыгнул через внутренний двор отеля де Ланже. неожиданно поднялись по лестнице прямо в спальню герцогини.

«Такого никогда не случалось», — сказала она, поспешно закутываясь в халат. «Арман! Это отвратительно с твоей стороны! Пойдем, выйди из комнаты, умоляю. Просто выйди из комнаты и уходи немедленно. Жди меня в гостиной. — Ну же!»

«Дорогой ангел, неужели у возлюбленного, заключившего брачный союз, нет никаких привилегий?»

«Но, месье, это самый дурной вкус для влюбленного или женатого человека». Вот так ворваться к своей жене.

Он подошел к герцогине, обнял ее и крепко прижал к себе.

«Прости, дорогая Антуанетта; но в моем сердце зреет множество ужасных сомнений».

«Сомнения? Фу! — Фу вам!»

«Сомнения почти оправданы. Если бы ты меня любил, стал бы ты устраивать эту ссору? Разве ты не был бы рад меня видеть? Разве ты не почувствовал бы что-то волнующее в своем сердце? Ведь я, не женщина, испытываю трепет в глубине души при одном лишь звуке твоего голоса. Часто в бальном зале меня охватывало непреодолимое желание броситься к тебе и обнять тебя за шею».

«О! Если вы будете сомневаться во мне до тех пор, пока я не буду готов броситься вам в объятия перед всем миром, то, полагаю, меня будут сомневаться всю жизнь. Ведь Отелло был всего лишь ребенком по сравнению с вами!»

«Ах!» — отчаянно воскликнул он, — «ты меня не любишь!»

«Признайте, по крайней мере, что в данный момент вы не достойны любви». «Значит, мне еще предстоит заслужить ваше расположение?»

«О, я так думаю. Пойдемте, — добавила она с немного властным видом, — выйдите».

«Оставьте меня в покое. Я не такой, как вы; я всегда хочу завоевать ваше расположение».

Никогда еще женщина так хорошо не понимала искусство сочетания обаяния и дерзости, и разве обаяние не удваивает эффект? Разве этого недостаточно, чтобы вывести из себя даже самого хладнокровного мужчину? В мадам де Ланже была какая-то необузданная свобода; что-то в ее глазах, голосе, позе, чего никогда не увидишь в влюбленной женщине, когда она стоит лицом к лицу с ним, и при одном только виде его сердца неизбежно начинает биться. Советы маркиза де Ронкероля излечили Армана от робости; и, кроме того, ему помогла та быстрая интуиция, которую страсть развивает в моменты, когда она наименее мудра среди смертных, в то время как великий человек в такой момент обладает ею в полной мере. Он догадался об ужасной правде, раскрытой безразличием герцогини, и его сердце наполнилось бурей, как озеро, поднимающееся во время наводнения.

«Если ты вчера сказала мне правду, будь моей, дорогая Антуанетта, — воскликнул он; — ты будешь...»

«Во-первых, — спокойно сказала она, отталкивая его, когда он приблизился, — во-первых, вы не должны меня скомпрометировать. Моя жена может вас подслушать. Уважайте меня, прошу вас. Ваша фамильярность вполне допустима в моем будуаре вечером; здесь же все совсем иначе. Кроме того, что может означать ваше «вы должны»?»

«Вы должны». Никто еще никогда не произносил этого слова в мой адрес. Мне кажется, это совершенно нелепо, абсолютно нелепо». «Вы ничего мне не уступите в этом вопросе?»

«О! Вы называете право женщины распоряжаться собой „спорным вопросом“? Действительно, это важнейший вопрос; вы позволите мне быть полностью хозяйкой в этом „спорном вопросе“». «А что, если, веря твоим обещаниям, я непременно в этом нуждаюсь?» «О! Тогда вы докажете, что я совершил величайшую ошибку, когда сделал вас...» Если вы не дадите мне никаких обещаний, я буду умолять вас оставить меня в покое.

Лицо генерала побледнело; он уже собирался броситься к ней, когда мадам де Ланже позвонила в звонок, появилась служанка и, улыбаясь с насмешливой грацией, герцогиня добавила: «Будьте так любезны и вернитесь, когда я буду на виду».

Затем Монтриво почувствовала твердость женщины, холодной и острой, как стальной клинок; ее презрение было сокрушительным. В одно мгновение она разорвала оковы, которые крепко держали только ее возлюбленного. Она прочитала намерение Армана на его лице и решила, что настал момент преподать имперскому солдату урок. Ему нужно было дать понять, что хотя герцогини и располагают к любви, они не отдают себя сами, и что завоевание одной из них окажется более сложной задачей, чем завоевание Европы.

«Мадам, — ответил Арман, — у меня нет времени ждать. Я избалованный ребенок, как вы сами мне и говорили. Когда я всерьез решу получить то, о чем мы говорили, я это получу».

«Вы это получите?» — спросила она, и в ее высокомерии читалось удивление.

«Мне это нужно».

«О! Вы бы доставили мне огромное удовольствие, если бы „решили“ это получить. Из любопытства мне было бы очень интересно узнать, как вы собираетесь это осуществить...»

«Я рад, что смогу внести новый интерес в вашу жизнь», — перебил Монтриво, разразившись смехом, который огорчил герцогиню. «Позвольте ли вы мне взять вас на бал?» сегодня вечером?"

«Огромное спасибо. М. де Марсей уже был с вами раньше. Я дал ему обещание».

Монтриво серьезно поклонился и ушел.

«Значит, Ронкероль был прав, — подумал он, — а теперь сыграем в шахматы».

С тех пор он скрывал своё волнение полным спокойствием. Ни один человек не достаточно силен, чтобы выдержать такие внезапные перепады от вершины счастья до

глубины нищеты. Значит, он лишь мельком увидел проблеск счастливой жизни, чтобы лучше почувствовать пустоту своего прежнего существования? Внутри него бушевала ужасная буря; но он научился терпеть и переносил потрясения бурных мыслей, как гранитная скала, выступающая на фоне бушующего моря.

«Я ничего не могу сказать. Когда я с ней, я теряю рассудок. Она не знает, насколько она мерзкая и презренная. Никто не осмелился поставить ее перед ней самой». Она переспала со многими мужчинами, в этом нет сомнений; я отомщу за всех них.

Возможно, впервые в сердце мужчины месть и любовь настолько слились воедино, что сам Монтриво не мог знать, что возьмет верх — любовь или месть. В тот же вечер он отправился на бал, где был уверен, что увидит герцогиню де Ланже, и почти отчаялся завоевать её сердце. Он склонялся к мысли, что в этой женщине, любезной к нему и сияющей очаровательными улыбками, есть что-то дьявольское; вероятно, потому что она не хотела, чтобы мир подумал, будто она пошла на компромисс с месье де Монтриво. Холодность с обеих сторон — признак любви; но пока герцогиня оставалась прежней, а маркиз выглядел угрюмым и мрачным, разве не было очевидно, что она ни в чём не уступила? Окружающие узнают отвергнутого возлюбленного по различным признакам и знакам; они никогда не принимают подлинные симптомы за холодность, которую некоторые женщины заставляют своих поклонников притворяться, надеясь скрыть свою любовь. Все смеялись над Монтриво; а он, забыв посмотреть на свой корнак, был рассеян и чувствовал себя неловко. М. де Ронкероль, скорее всего, предложил бы ему пойти на компромисс с герцогиней, ответив на ее проявление дружелюбия страстными демонстрациями; но в итоге Арман де Монтриво ушел с бала, испытывая отвращение к человеческой природе и даже тогда едва ли готовый поверить в такую полную порочность.

«Если нет палача для таких преступлений, — сказал он, глядя на освещенные окна бального зала, где танцевали, смеялись и болтали самые очаровательные женщины Парижа, — я схвачу вас за затылок, мадам герцогиня, и заставлю вас почувствовать что-то, что укусит глубже, чем нож на площади Гревэ».

«Сталь против стали; мы увидим, чье сердце оставит более глубокий след».

Примерно неделю мадам де Ланже надеялась снова увидеть маркиза де Монтриво; но он довольствовался тем, что каждое утро отправлял свою открытку в отель де Ланже. Герцогиня невольно содрогалась каждый раз, когда приносили открытку, и в ее голове промелькнуло смутное предчувствие, но оно было таким же расплывчатым, как предчувствие беды. Когда ее взгляд упал на это имя, ей показалось, что она чувствует прикосновение сильной руки неумолимого мужчины к своим волосам; порой эти слова казались предзнаменованием мести, которую ее живой ум придумывал в самых шокирующих формах. Она слишком хорошо его изучила, чтобы не бояться его. Убьет ли он ее, думала она? Не будет ли эта чушь... Неужели этот здоровенный мужчина перережет ей позвоночник, перебросив ее через себя? Неужели он растопчет ее тело ногами? Когда, где и как он завладеет ею? Неужели он заставит ее сильно страдать, и какую боль он ей причинит? Она раскаялась в своем поступке. Бывали часы, когда, если бы он пришел, она бы бросилась ему в объятия, полностью отдавшись ему.

Каждую ночь перед сном она видела лицо Монтриво; каждую ночь оно менялось. Иногда она видела его горькую улыбку, иногда — змееподобное нахмушивание бровей; или его львиный взгляд, или какое то презрительное движение плеч делало его ужасным для нее. На следующий день карточка казалась запятнанной кровью. Имя Монтриво теперь волновало ее так, как никогда не волновало присутствие этого пылкого, упрямого, требовательного возлюбленного. Ее опасения нарастали в тишине. Она была вынуждена, без посторонней помощи, столкнуться с мыслью об ужасной дуэли, о которой она не могла говорить. Ее гордая, жесткая натура была более восприимчива к волнениям ненависти, чем когда-либо к ласкам любви. Ах! Если бы генерал только мог увидеть ее, сидящую с втянутым между бровями лбом, погруженную в горькие мысли в том будуаре, где он пережил такие счастливые моменты, он, возможно, возложил бы на нее большие надежды. Из всех человеческих страстей разве одна лишь гордость не способна породить что-либо низменное? Мадам де Ланже держала свои мысли при себе, но разве не допустимо предположить, что господин де Монтриво больше не был к ней равнодушен? И разве мужчина не обретает огромную силу, когда женщина думает о нем? В любом случае, он неизбежно будет добиваться с ней успеха.

Поставьте любое существо женского пола под ноги разъяренного коня или другого ужасного зверя; она непременно упадет на колени и будет искать смерти; но если зверь проявит более мягкое настроение и не убьет ее окончательно, она полюбит коня, льва, быка или что-либо еще и будет говорить о нем совершенно непринужденно. Герцогиня чувствовала себя под лапами льва; она дрожала, но не ненавидела его.

Мужчина и женщина, занимавшие столь особое положение по отношению друг к другу, встречались в обществе трижды в течение той недели. Каждый раз в ответ на кокетливые вопросительные взгляды герцогиня получала почтительный поклон и улыбки, окрашенные такой едкой иронией, что все ее опасения по поводу откровения утром вновь возникали ночью. Наша жизнь такова, какой ее формируют наши чувства; и чувства этих двоих создали огромную пропасть между ними.

Графиня де Серизи, сестра маркиза де Ронкероля, устроила грандиозный бал в начале следующей недели, и мадам де Ланже обязательно собиралась на него пойти. Арман был первым, кого герцогиня увидела, войдя в комнату, и на этот раз Арман заботился о ней, по крайней мере, так ей казалось. Они обменялись взглядами, и вдруг женщина почувствовала, как холодный пот выступил по каждой её поре. Она всё время думала, что Монтриво способен на невообразимую месть, соразмерную их положению, и теперь, когда месть была раскрыта, она была готова, разгорелась и кипела. В глазах обманутого возлюбленного сверкнули молнии, его лицо сияло ликующей жадой мести. А герцогиня? Её глаза были измождены, несмотря на её решимость сохранять хладнокровие и дерзость. Она села рядом с графиней де Серизи, которая не смогла удержаться от восклицания: «Дорогая Антуанетта! Что с тобой случилось?»

Ты способен напугать кого угодно.

«После кадрили я буду в порядке», — ответила она, протягивая руку молодому человеку, который

В тот момент это и произошло.

В тот вечер мадам де Ланже танцевала вальс с таким волнением и восторгом, что это еще больше усилило унылый взгляд Монтриво. Он стоял перед вереницей зрителей, которые развлекались, наблюдая за ней. Каждый раз, когда она проходила мимо него, его взгляд метнулся к ее взволнованному лицу; он словно тигр, держащий добычу в своих лапах. Вальс подошел к концу, мадам де Ланже вернулась на свое место рядом с графиней, а Монтриво, не отрывая от нее глаз, все это время разговаривал с незнакомцем.

«Одно из того, что меня больше всего поразило в поездке, — говорил он (и герцогиня слушала внимательно), — это замечание, которое делает человек в Вестминстере, когда вам показывают топор, которым человек в маске отрубил голову Карлу I, как вам рассказывают. Король сделал это сначала какому-то любопытному человеку, и они до сих пор повторяют это в память о нем».

«Что говорит этот мужчина?» — спросила мадам де Серизи.

«Не прикасайтесь к топору!» — ответил Монтриво, и в его голосе звучала угроза.

«Неужели, милорд маркиз, — сказала мадам де Ланже, — вы рассказываете эту старую историю, которую знает каждый, кто бывал в Лондоне, и смотрите на мою шею с таким мелодраматичным видом, что мне кажется, будто вы держите в руке топор».

Герцогиня покрылась холодным потом, но, тем не менее, рассмеялась, произнося последние слова.

«Но обстоятельства придают этой истории совершенно новое значение», — ответил он.

«Как так? Скажите мне, ради всего святого!»

«Таким образом, мадам, вы коснулись топора», — сказал Монтриво, понизив голос. «Какое очаровательное пророчество!» — ответила она, улыбаясь с притворной грацией. «И когда...» Неужели моя голова упадет? «Я не желаю, чтобы вашу прекрасную головку отрубили. Я лишь опасаясь для вас большого несчастья. Если бы вам коротко подстригли голову, разве вы не сожалели бы о своих нежных золотистых волосах, которые так вам идут?»

«Есть люди, ради которых женщина с удовольствием пошла бы на такую жертву; даже если, как это часто бывает, это ради мужчины, который не может снисходительно относиться к вспышкам гнева».

«Вполне верно. Ну и если какой-нибудь остряк вдруг испортит вашу красоту...» химический процесс, а вам, которым для нас всего восемнадцать, должно было исполниться сто лет?

— Оспа — это наша битва при Ватерлоо, месье, — перебила она. — После её окончания мы узнаем, кто нас искренне любит.

«Разве вы не пожалеете о таком прекрасном лице?»

«О! Конечно, я бы так и поступила, но не ради себя, а ради кого-то другого, кому это могло бы доставить удовольствие. И, в конце концов, если бы меня любили, всегда

любили и любили по-настоящему, Какое мне дело до моей красоты? — Что скажешь, Клара?

«Это опасная спекуляция», — ответила мадам де Серизи.

«Разве допустимо спрашивать Его Величество Короля Колдунов о том, почему я совершил ошибку, прикоснувшись к топору, ведь я еще не был в Лондоне?»

«Это не так», — ответил он по-английски, иронично рассмеявшись.

«И когда начнётся наказание?»

В этот момент Монтриво хладнокровно достал часы и с точностью до секунды определил время. Ужасающая атмосфера убежденности.

«Прежде чем этот день закончится, вас постигнет ужасное несчастье».

«Я не из тех детей, которых легко испугать, вернее, я ребенок, не знающий об опасности», — сказал он. Герцогиня: «Теперь я буду танцевать без страха на краю пропасти».

«Я рад узнать, что вы обладаете такой силой характера», — ответил он. Он проводил ее взглядом, когда она ушла, чтобы занять свое место в танцевальном зале.

Но герцогиня, несмотря на кажущееся презрение к мрачным пророчествам Армана, на самом деле была напугана. Присутствие ее покойного возлюбленного давило на нее морально и физически чувством угнетения, которое почти не исчезло, когда он покинул бальный зал. И все же, когда она немного отдышалась и ощутила облегчение, она вдруг пожалела о чувстве страха, настолько жадна женская природа до крайних ощущений. Это сожаление не было любовью, но оно, безусловно, было сродни другим чувствам, которые подготавливают почву для любви. И тут — словно впечатление, которое произвел на нее Монтриво, внезапно восстановилось — она вспомнила его уверенный вид, когда он достал часы, и в внезапном приступе страха вышла.

К этому времени было около полуночи. Одна из ее служанок, ожидавшая ее с пелиссой, спустилась вниз, чтобы заказать карету. По дороге домой она, естественно, задумалась над предсказанием господина де Монтриво. Прибыв в свой собственный двор, как она и предполагала, она вошла в вестибюль, почти такой же, как в ее собственной гостинице, и вдруг увидела, что лестница другая. Она оказалась в незнакомом доме. Повернувшись, чтобы позвать слуг, на нее напали несколько мужчин, которые быстро накинули ей на рот платок, связали ей руку и ногу и унесли. Она громко закричала.

«Мадам, нам приказано убить вас, если вы закричите», — прошептал голос ей на ухо.

Ужас герцогини был настолько велик, что она не могла вспомнить, как и кем ее перевезли. Придя в себя, она лежала на кушетке в холостяцкой квартире, ее руки и ноги были связаны шелковыми веревками. Вопреки себе, она громко вскрикнула, обернувшись и встретившись взглядом с Арманом де Монтриво. Он сидел в халате, тихо куря сигару в кресле.

«Не кричите, мадам герцогиня, — спокойно сказал он, вынимая сигару изо рта, — у меня болит голова. Кроме того, я вас развяжу. Но внимательно выслушайте то, что я имею честь вам сказать».

Он очень осторожно развязал узлы, связывавшие ей ноги.

«Какой смысл кричать? Никто не услышит твои крики. Ты слишком здоров. Ты создан для того, чтобы создавать любую ненужную суету. Если ты не будешь вести себя спокойно, если будешь настаивать на борьбе со мной, я снова свяжу тебе руки и ноги. В общем, я думаю, у тебя достаточно самоуважения, чтобы оставаться на этом диване, как будто ты лежишь один дома; холодный, как всегда, если хочешь. Ты заставил меня пролить много слез на этом диване, слез, которые я скрывал от всех остальных глаз.

Пока Монтриво говорил, герцогиня огляделась вокруг; это был женский взгляд, украдкой брошенный, который видел всё и, казалось, ничего не видел. Она была очень довольна комнатой. Она чем-то напоминала келью монаха. Казалось, что характер и мысли мужчины пронизывают её насквозь. Никакие украшения не нарушали серую окраску стен. Пол был покрыт зелёным ковром. Чёрный диван, стол, заваленный бумагами, два больших кресла, комод с часами-будильником в качестве украшения, очень низкая кровать, накрытая покрывалом — красной тканью с чёрной каймой в виде ключа — все эти вещи составляли единое целое, рассказывающее о жизни, сведенной к самым простым понятиям. Тройной подсвечник в египетском стиле на камине напоминал о бескрайних просторах пустыни и долгих странствиях Монтриво; огромная клешня сфинкса выделялась из складок ткани у изножья кровати; А чуть дальше, над дверью в одном из углов комнаты, на больших кольцах, свисала зеленая занавеска с черно-алой каймой, прикрепленная к рукоятке копья.

Другая дверь, через которую вошла группа, тоже была занавешена, но драпировка висела на обычном карнизе. Когда герцогиня наконец заметила, что узор на обеих дверях одинаковый, она увидела, что дверь у изножья кровати открыта; из комнаты за ней мерцали лучи красноватого света под бахромой. Естественно, зловещий свет пробудил ее любопытство; ей показалось, что она может различить странные силуэты в тенях; но поскольку в тот момент ей не приходило в голову, что опасность может исходить оттуда, она попыталась удовлетворить более сильное любопытство.

«Месье, если это не будет нескромно, позвольте спросить, что вы собираетесь со мной сделать?» Дерзость и ирония тона пронзительно звучали. Герцогиня была совершенно уверена, что в речи Монтриво таится безграничная любовь. Он похитил ее; разве это само по себе не было признанием ее власти?

«Ничего особенного, мадам», — ответил он, грациозно выдохнув последний дым сигары. «Вы останетесь здесь ненадолго. Прежде всего, я хотел бы объяснить вам, кто вы и кто я. Я не могу выразить свои мысли словами, пока вы ворочаетесь на диване в своей спальне; кроме того, в собственном доме вы обижаетесь на малейший намек, звоните в дверь, поднимаете шум и выгоняете своего любовника за дверь, как будто он самый низкий из ничтожных. Здесь же мой разум свободен. Здесь никто не сможет меня выгнать».

«Вот вы станете моей жертвой на несколько секунд, и вы будете настолько добры, что выслушаете меня. Вам нечего бояться. Я похитил вас не для того, чтобы оскорбить, и не для того, чтобы силой отнять то, что вы по своей воле отказались отдать мне, недостойному меня. Я не мог опуститься так низко. Возможно, вы думаете о насилии; у меня же таких мыслей нет».

Он хладнокровно бросил сигару в огонь.

«Дым, несомненно, неприятен вам, мадам?» — сказал он и, тут же поднявшись, достал из камина подогреватель, зажег благовония и очистил воздух. Удивление герцогини было сравнимо лишь с ее унижением. Она находилась во власти этого человека, и он не собирался злоупотреблять своей властью. Глаза, в которых когда-то горела любовь, теперь были спокойны и неподвижны, как звезды. Она дрожала. Ее страх перед Арманом усилился... Кошмарное ощущение беспокойства и полной неспособности двигаться; ей казалось, что она превратилась в камень. Она лежала неподвижно во власти страха. Ей показалось, что свет за занавесками разгорелся до пламени, словно раздутого меха; через мгновение вспышки пламени стали ярче, и ей показалось, что внезапно выскочили три фигуры в масках; но ужасное видение исчезло так быстро, что она приняла его за оптическое галлюцинирование.

«Мадам, — продолжил Арман с холодным презрением, — одной минуты, всего одной минуты мне достаточно, и вы будете чувствовать это потом каждую минуту на протяжении всей вашей жизни, той единственной вечности, над которой я имею власть. Я не Бог. Внимательно послушайте меня, — продолжил он, сделав паузу, чтобы придать своим словам торжественности. — Любовь всегда придет по вашему У вас безграничная власть над мужчинами: но помните, что когда-то вы призвали любовь, и любовь пришла к вам; любовь, такая же чистая и искренняя, как только может быть на земле, и такая же благоговейная, как страстная; нежная, как любовь преданной женщины, как материнская любовь; любовь настолько великая, что она вышла за пределы разумного. Вы играли с ней и совершили преступление. Каждая женщина имеет право отказаться от любви, которую, как ей кажется, она не может разделить; и если мужчина любит и не может завоевать любовь в ответ, его не следует жалеть, у него нет права жаловаться. Но с помощью видимости любви привлечь несчастное существо, отрезанное от всякой привязанности; научить его понимать счастье в полной мере, только чтобы отнять его у него; лишить его будущего счастья; убить его счастье не только сегодня, но и на всю жизнь, отравляя каждый час и каждую мысль — это я называю ужасным преступлением!

«Месье, я пока не могу позволить вам ответить мне. Поэтому слушайте меня внимательно. В любом случае, у меня есть права на вас, но я предпочитаю воспользоваться лишь одним из них — правом судьи над преступником, чтобы пробудить вашу совесть. Если бы у вас совсем не осталось совести, я бы вас не упрекал; но вы так молоды! Должно быть, в вашем сердце еще осталась какая-то жизнь; или, по крайней мере, мне хочется в это верить. Хотя я считаю вас достаточно порочным, чтобы совершить зло, которое закон не наказывает, я не думаю, что вы настолько унижены, чтобы не понимать полного смысла моих слов. Я продолжаю».

Пока он говорил, герцогиня слышала приглушенный звук мехов. Те таинственные фигуры, которые она только что видела, несомненно, раздували огонь; его сияние просвечивало сквозь занавеску. Но зловещее лицо Монтриво было обращено к ней; она не могла не ждать с учащенным сердцебиением и прикованным взглядом. Как бы ни было ей любопытно, жар в словах Армана заинтересовал ее даже больше, чем потрескивание таинственного пламени.

«Мадам, — продолжил он после паузы, — если какой-нибудь бедняга совершит убийство в Париже, то обязанность палача, знаете ли, — схватить его и растянуть на доске, где убийцы расплачиваются за свои преступления головами. Затем газеты сообщают об этом всем, богатым и бедным, чтобы первые могли спокойно спать, а вторые были предупреждены, что им нужно быть начеку, если они хотят выжить. Что ж, вы, религиозные люди, и даже немного фанатичные, можете заказать мессы за душу такого человека. Вы оба принадлежите к одной семье, но ваша — старшая ветвь; а старшая ветвь может занимать высокие места в мире и жить счастливо и беззаботно. Нищета или гнев могут толкнуть вашего брата-каторжника на убийство; вы же отняли больше, вы лишили человека радости жизни, вы убили все лучшее в его жизни — его самые заветные убеждения. Убийца просто поджидал свою жертву и убивал ее». с неохотой и из страха перед эшафот; но вы...! Вы нагромодили все грехи, которые может совершить слабость, против силы, не подозревавшей зла; вы приручили пассивную жертву, чтобы лучше разгрызть ему сердце; вы соблазнили его ласками; вы не оставили ничего недоделанного, что могло бы заставить его мечтать, представлять, тосковать по блаженству любви. Вы требовали от него бесчисленных жертв, только чтобы отказаться принести что-либо взамен. Он должен увидеть свет, прежде чем вы выколете ему глаза! Удивительно, как вы нашли в себе силы на это! Такие злодеяния требуют демонстрации изобретательности, совершенно превосходящей понимание тех буржуа, над которыми вы смеетесь и которых презираете. Они умеют давать и прощать; они умеют любить и страдать. Величие их преданности затмевает нас. Поднимаясь выше по социальной лестнице, можно найти столько же грязи, сколько и на низшем уровне; но с этой разницей, на верхнем уровне она твердая и позолоченная.

«Да, чтобы найти низость в совершенстве, нужно искать благородное воспитание, громкое имя, прекрасную женщину, герцогиню. Нельзя опуститься ниже самого низкого уровня, если не возвысишься над остальным миром. — Я плохо выражаю свои мысли; раны, которые вы мне нанесли, пока слишком болезненны, но не думайте, что я жалею. Мои слова не выражают никакой надежды на себя; в них нет и следа горечи. Знайте это, мадам, наверняка — я прощаю вас. Мое прощение настолько полное, что вам несколько не следует сожалеть о том, что вы пришли сюда против своей воли... Но вы могли бы воспользоваться другими сердцами, такими же ребячливыми, как мое, и мой долг — избавить их от страданий. Так вы вдохновили меня на мысль о справедливости. Искупите свой грех здесь, на земле; возможно, Бог простит вас; я бы хотел, чтобы Он простил, но Он неумолим и обязательно накажет».

Женщина, сломленная духом и разбитым сердцем, подняла глаза, их взгляд был полон слез.

«Почему вы плачете? Будьте верны своей природе. Вы могли бы равнодушно наблюдать за мучениями разбитого сердца. Этого будет достаточно, мадам, не плачьте. Я больше не могу этого выносить». Другие мужчины скажут тебе, что ты подарил им жизнь; что же я говорю тебе с восторгом, так это то, что ты подарил мне полное исчезновение. Возможно, ты догадываешься, что я не принадлежу себе, что я обязан жить ради своих друзей, что отныне мне предстоит терпеть холод смерти, а также бремя жизни? Неужели в тебе может быть столько доброты? Ты похож на пустынную тигрицу, которая зализывает нанесенные ею раны?

Герцогиня разрыдалась.

«Пожалуйста, пощадите свои слезы, мадам. Если бы я хоть немного поверил в них, это лишь заставило бы меня насторожиться. Это еще одна из ваших уловок? Или нет? Вы использовали так много уловок в отношении меня; как можно думать, что в ваших словах есть хоть доля правды? Ничто из того, что вы делаете или говорите, сейчас не способно меня тронуть. Это все, что я хотел сказать».

Мадам де Ланже поднялась на ноги, демонстрируя в своей позе большое достоинство и смирение.

«Вы правы, обращаясь со мной очень сурово», — сказала она, протягивая руку мужчине, который так и поступил. не принять это; «Ты почти ничего не сказал, и я заслуживаю этого наказания».

«Я наказываю вас, мадам! Человек должен любить, чтобы наказывать, не так ли? От меня вы не должны ожидать никаких чувств, ничего похожего на них. Если бы я захотел, я мог бы быть обвинителем и судьей в своем деле, вынести и привести приговор в исполнение. Но я собираюсь исполнить свой долг, а не желание мести. Самая жестокая месть, я думаю, — это презрение к мести, когда она в наших силах. Возможно, я стану вашим слугой удовольствий; кто знает? Возможно, с этого времени, с достоинством нося знаки позора, которыми общество отличает преступника, вы неизбежно узнаете что-то о жизни осужденного...» чувство чести. И тогда вы полюбите!

Герцогиня сидела и слушала; ее кротость была ненастоящей; это не было кокетливым приемом. Когда она наконец заговорила, это произошло после молчания.

«Арманд, — начала она, — мне кажется, что, сопротивляясь любви, я подчинялась всем инстинктам женской скромности; мне не следовало ожидать от тебя таких упреков. Я была слаба; ты обратил все мои слабости против меня и совершил столько преступлений. Как ты мог не понимать, что любопытство любви могло завести меня дальше, чем следовало, и что на следующее утро я могу злиться на себя и быть несчастной, потому что зашла слишком далеко? Увы! Я согрешила по неведению. Я была так же искренна в своем проступке, клянусь тебе, как и в своем раскаянии. В моей суровости было гораздо больше любви к тебе, чем в моих уступках. И кроме того, на что ты жалуешься? Я отдала тебе свое сердце; этого было недостаточно; ты жестоко потребовал, чтобы я отдала тебе свою личность...»

«Жестоко?» — повторил Монтриво. Но про себя он подумал: «Если я хоть раз позволю ей поспорить». Я не могу подобрать слов.

«Да. Вы подошли ко мне так, словно я была одной из тех женщин. Вы не проявили ни уважения, ни любви. Разве у меня не было оснований задуматься? Что ж, я задумалась». Непристойность вашего поведения не является непростительной; в её источнике лежала любовь; позвольте мне так думать и оправдать вас перед собой. — Что ж, Арман, сегодня вечером, даже когда вы предсказывали зло, я была убеждена, что нас обоих ждёт счастье. Да, я верила в благородную, гордую натуру, которая так часто испытывалась и доказывалась». Она наклонилась ниже. «И я была целиком твоей», — прошептала она ему на ухо. «Я чувствовала невыразимое желание подарить счастье человеку, столь жестоко испытывавшемуся невзгодами. Если мне нужен хозяин, то мой хозяин должен быть великим человеком. Чем больше я осознавала свой рост, тем меньше мне хотелось опускаться. Я чувствовала, что могу доверять вам, я видела целую жизнь любви, в то время как вы указывали на смерть...» Сила и доброта всегда идут рука об руку. Мой друг, ты так силен, что не будешь зол на беспомощную женщину, которая тебя любит. Если я был неправ, разве нет способа получить прощение? Нет способа исправиться? Раскаяние — это очарование любви; я хотел бы быть очень очаровательным для тебя. Как я, единственный среди женщин, мог не знать женских сомнений и страхов, той робости, которую так естественно испытывать, связывая себя на всю жизнь, и знать, как легко мужчина разрывает такие узы? Буржуа, с которыми ты только что меня сравнивал, отдаются, но сначала борются. Хорошо — я боролась; но вот я здесь! — Ах! Боже, он меня не слышит! — она оборвалась и, заламывая руки, воскликнула: «Но я люблю тебя! Я твоя!» и упала к ногам Армана.

«Твой! Твой! Мой единственный и неповторимый господин!»

Арман пытался её воспитать.

«Мадам, уже слишком поздно! Антуанетта не сможет спасти герцогиню де Ланже. Я не верю ни в одну из них. Сегодня вы можете отдать себя; завтра можете отказаться. Никакая сила на земле или на небе не может гарантировать мне сладкую неизменность любви. Все клятвы любви лежали в прошлом; а теперь от этого прошлого ничего не осталось».

Свет за занавеской вспыхнул так ярко, что герцогиня не смогла сдержать эмоций.

Она повернула голову; на этот раз она отчетливо увидела три фигуры в масках.

«Арманд, — сказала она, — я бы не хотела плохо о тебе думать. Зачем эти люди там?» Что ты собираешься со мной сделать?

«Эти люди будут молчать так же, как и я, по поводу того, что вот-вот произойдет». Готово. Считайте их просто моими руками и моим сердцем. Один из них — хирург...»

«Хирург! Арман, мой друг, из всех вещей, ожидание — самое трудное, что можно вынести. Просто Говори; скажи мне, хочешь ли ты моей жизни; я отдам её тебе, ты не должен её отнимать...»

«Значит, вы меня не поняли? Разве я только что не говорил о справедливости? Чтобы положить конец вашим заблуждениям, — продолжил он, взяв со стола небольшой стальной предмет, — я сейчас объясню, что я решил в отношении вас».

Он протянул лотарингский крест, прикрепленный к острию стального прута.

«Двое моих друзей прямо сейчас раскаляют докрасна еще один крест, сделанный по этому образцу. Мы собираемся нанести его тебе на лоб, вот здесь, между глаз, чтобы не было возможности скрыть метку бриллиантами и таким образом избежать вопросов людей. Короче говоря, на твоём лбу будет клеймо позора, которое твои братья-каторжники носят на плечах. Боль — пустяк, но я опасался какого-то нервного срыва, сопротивления...»

«Сопротивление?» — воскликнула она, радостно хлопая в ладоши. «О нет, нет! Я бы хотел, чтобы весь мир увидел это. Ах, мой Арман, заклейте ее скорее, это ваше творение; заклейте ее своим знаком, как жалкую мелочь, принадлежащую тебе. Ты просил залога моей любви; вот он, весь в одном. Ах! Для меня в этой твоей мести нет ничего, кроме милосердия, прощения и вечного счастья. Когда ты поставишь на эту женщину свой знак, когда ты поставишь на нее свой багровый знак, свою рабыню душой, ты никогда не сможешь ее покинуть, ты будешь моим навсегда? Когда ты отлучаешь меня от моего рода, ты берешь на себя ответственность за мое счастье или доказываешь свою подлость; а я знаю, что ты благороден и велик! Ведь когда женщина любит, знак любви выжигается в ее душе по ее собственной воле. — Входите, господа! Входите и заклейте ее, эту герцогиню де Ланже. Она навсегда принадлежит господину де Монтриво! Ах! Входите скорее, все вы, мой лоб горит жарче вашего огня!»

Арман резко отвернул голову, опасаясь увидеть герцогиню, стоящую на коленях и дрожащую от биения сердца. Он произнес какое-то слово, и трое его друзей исчезли.

Женщины парижских салонов знают, как одно зеркало отражает другое. Герцогиня, имея все основания читать глубины сердца Армана, была вся в глазах; а Арман, совершенно не обращая внимания на зеркало, смахнул две слезинки, как только они упали. Вся ее судьба была в этих двух слезах. Когда он снова повернулся, чтобы помочь ей подняться, она стояла перед ним, уверенная в любви. Ее пульс, должно быть, участился, когда он заговорил с той твердостью, которую она так хорошо умела использовать раньше, играя с ним.

«Я щажу вас, мадам. Всё, что произошло, будет как будто ничего и не было, можете мне поверить. А теперь давайте попрощаемся. Мне хочется верить, что вы были искренни в своих словах».

Твои кокетливые ухаживания на диване, вновь искренние в этом излиянии твоих чувств. Прощай. Я чувствую, что во мне не осталось веры в тебя. Ты снова будешь мучить меня; ты всегда будешь герцогиней, и... Но вот так, прощай, мы никогда не пойдем друг друга.

— Итак, чего вы желаете? — продолжил он, приняв тон распорядителя торжества, — вернуться домой или на бал к мадам де Серизи? Я сделал все, что в моих силах, чтобы предотвратить любой скандал. Ни ваши слуги, ни кто-либо еще не могут знать, что произошло, между нами, за последние пятнадцать минут. Ваши слуги понятия не имеют, что вы покинули бальный зал; ваша карета так и не выехала из двора мадам де Серизи; ваш экипаж также можно найти во дворе вашей гостиницы. Где вы хотите быть?

«Что бы вы посоветовали, Арманд?»

«Теперь Армана нет, мадам герцогиня. Мы чужие друг другу».

«Тогда отведи меня на бал», — сказала она, все еще с любопытством желая проверить силу Армана. «Ввергните душу, страдавшую в этом мире и обреченную на вечные страдания, если для нее нет счастья, обратно в ад. И все же, о мой друг, я люблю тебя так, как любят тебя твои буржуа; я люблю тебя так, что мог бы прийти к тебе и обнять тебя за шею перед всем миром, если бы ты попросил об этом. Ненавистный мир не развратил меня. Я, по крайней мере, молод, и я стал еще моложе. Я ребенок, да, твой ребенок, твоё новое творение. Ах! Не изгоняй меня из моего Эдема!»

Арманд покачал головой.

«Ах! Позвольте мне взять с собой кое-что, если я пойду, какую-нибудь мелочь, чтобы носить сегодня вечером на сердце», — сказала она, взяв перчатку Армана и скрутив ее в свой платок.

«Нет, я не такая, как все эти развратные женщины. Вы не знаете мира, поэтому не можете знать моей ценности. Теперь узнаете! Есть женщины, которые продают себя за деньги; есть другие, которых можно получить дарами, это мерзкий мир! О, как бы я хотела быть простой буржуазкой, простушкой, если бы вы предпочли женщину ниже вас, чем женщину, чья преданность сопровождается высоким положением, как считают мужчины. О, мой Арман, среди нас есть благородные, высокие, целомудренные и чистые натуры; и они поистине прекрасны. Я бы хотела обладать всем благородством, чтобы отдать его вам целиком. Несчастье распорядилось, чтобы я стала герцогиней; я бы хотела быть королевской принцессой, чтобы мое подношение было полным. Я бы была для вас гризетткой, а для всех остальных — королевой».

Он слушал, притирая сигары губами.

«Вы дадите мне знать, когда захотите поехать», — сказал он.

«Но я бы хотел остаться...»

«Это уже совсем другой вопрос!»

«Стой, она плохо скручена!» — воскликнула она, схватив сигару и жадно её выкулив. Губы Арманда соприкоснулись.

"Вы курите?"

«О, чего только я не сделаю, чтобы угодить тебе?»

«Хорошо. Идите, мадам».

«Я буду тебя слушаться», — ответила она со слезами на глазах.

«Вам должны быть с завязанными глазами; вы не должны видеть ни малейшего проблеска дороги».

«Я готова, Арманд», — сказала она, завязывая глаза повязкой.

«Вы видите?»

"Нет."

Он бесшумно опустился перед ней на колени.

«Ах! Я тебя слышу!» — воскликнула она, сделав нежный жест, думая, что притворство... Жестокость закончилась.

Он сделал вид, будто собирается поцеловать ее в губы; она подняла лицо.

«Вы и сами видите, мадам».

«Мне просто немного любопытно».

«Значит, ты всегда меня обманываешь?»

«Ах! Снимите этот платок, сэр!» — воскликнула она с неистовой страстью. Щедрость, отвергнутая с презрением: «Веди меня; я не открою глаз своих».

После этого крика Арман почувствовал в ней уверенность. Он повел ее вперед; герцогиня, благородно верная своему слову, была слепа. Но пока Монтриво держал ее за руку, как отец, и вел вверх и вниз по лестнице, он изучал пульсацию сердца этой женщины, так внезапно охваченной любовью. Мадам де Ланже, радуясь этой красноречивости, с удовольствием рассказала ему все; но он был непреклонен; его рука бездействовала в ответ на вопросы, которые задавала ее рука.

Наконец, после некоторого совместного пути, Арман велел ей идти вперед; проход, несомненно, был узким, ибо, идя, она чувствовала, как его рука защищает ее платье. Его забота коснулась ее; это, несомненно, было откровением, что в ней еще осталась частичка любви; и все же это было своего рода прощание, ибо Монтриво ушел, не сказав ни слова. Воздух был теплым; герцогиня, почувствовав тепло, открыла глаза и обнаружила себя стоящей у камина в будуаре графини де Серизи.

Она была одна. Первой ее мыслью был беспорядок в туалетном столике; в одно мгновение она... Она поправила платье и привела в порядок свою живописную прическу.

«Дорогая Антуанетта, мы искали тебя повсюду». Это была графиня де Серизи, которая заговорила, открывая дверь.

«Я пришла сюда подышать свежим воздухом, — сказала герцогиня; — в комнатах невыносимо жарко».

«Люди думали, что ты ушёл; но мой брат Ронкероль сказал мне, что твои слуги ждут тебя».

«Я очень устала, дорогая, позволь мне остаться здесь и отдохнуть минутку», — и герцогиня села на диван.

«Что с тобой не так? Ты дрожишь с головы до ног!»

Вошел маркиз де Ронкероль.

«Госпожа герцогиня, я опасалась, что что-то могло случиться. Я только что приехала». «Напротив вашего кучера этот человек пьян, как и все швейцарцы в Швейцарии».

Герцогиня ничего не ответила; она оглядывала комнату, камин и высокие зеркала, ища проблески надежды. Затем с необычайным чувством она вспомнила, что снова

оказалась в центре веселья бального зала после той ужасной сцены, которая изменила весь ход ее жизни. Ее охватила сильная дрожь.

«Пророчество господина де Монтриво пошатнуло мои нервы, — сказала она. — Это была шутка, но все же я посмотрю, будет ли меня преследовать его топор из Лондона даже во сне. Так что прощай, дорогая. — Прощай, господин маркиз».

Проходя по комнатам, она была полна вопросов и сожалений. Казалось, ее мир сузился, ведь она, королева, так низко пала, так обесценилась. И что же представляли собой эти люди по сравнению с тем, кого она любила всем сердцем; с тем, кто вырос благодаря тому, что она потеряла в росте? Великан вновь обрел утраченный рост, и она, возможно, преувеличила это до неузнаваемости. Она, невольно, посмотрела на слугу, который сопровождал ее на бал. Он крепко спал.

«Вы здесь все это время были?» — спросила она.

«Да, мадам».

Усевшись в карету, она увидела, что ее кучер пьян — настолько пьян, что в любой другой ситуации испугалась бы; но после серьезного жизненного кризиса страх теряет аппетит к обычной пище. Во всяком случае, она добралась до дома без происшествий; но даже там она почувствовала перемену в себе, новое чувство, от которого не могла избавиться. Для нее теперь был только один мужчина в мире; это значит, что отныне она стремилась сиять только ради него.

В то время как физиолог может быстро определить любовь, следуя законам природы, моралист сталкивается с гораздо более сложной проблемой, если попытается рассмотреть любовь во всех её проявлениях, обусловленных социальными условиями. Тем не менее, несмотря на ереси бесчисленных сект, разделяющих церковь Любви, существует одна широкая и острая линия различия в доктрине, линия, которую никакие дискуссии в мире не смогут изменить. Строгое применение этой линии объясняет природу кризиса, через который предстояло пройти герцогине, как и большинству женщин. Страсть она знала, но любви ещё не любила.

Любовь и страсть — два разных состояния, которые поэты и мирские люди, философы и глупцы постоянно путают. Любовь подразумевает взаимный обмен, уверенность в блаженстве, которое ничто не может изменить; она означает столь тесную связь сердец и столь постоянный обмен счастьем, что не остается места для ревности. Тогда обладание — это средство, а не цель; неверность может причинять боль, но связь не становится менее крепкой; душа не становится ни более, ни менее пылкой или встревоженной, но счастлива в каждый момент; короче говоря, божественное дыхание желаний, распространяющееся от края до края необъятности Времени, окрашивает все это для нас в один и тот же оттенок; жизнь приобретает оттенок безоблачного неба. Но страсть — это предзнаменование Любви и той Бесконечности, к которой стремятся все страдающие души. Страсть — это Надежда, которую можно обмануть. Страсть означает и страдание, и перемены. Страсть угасает, когда умирает надежда. Мужчины и женщины могут проходить через это переживание много раз без бесчестия, ибо так естественно стремиться к счастью; но любовь бывает только одна в жизни. Поэтому все дискуссии о чувствах, когда-либо проводившиеся на

бумаге или устно, можно свести к двум вопросам: «Это страсть? Это любовь?» Итак, поскольку любовь возникает только через сокровенное переживание блаженства, которое даёт ей непреходящую жизнь, герцогиня ещё находилась под игом страсти; и, зная яростный смятение, бессознательные расчёты, лихорадочные желания и всё, что подразумевается под словом «страсть», она страдала. Через все душевные муки поднимались вихревые порывы бури, вызванные тщеславием или самолюбием, гордостью или высокомерием; ибо все эти формы эгоизма объединяются.

Она сказала этому мужчине: «Я люблю тебя; я твоя!» Неужели герцогиня де Ланже произнесла эти слова напрасно? Теперь она должна быть любима, иначе ей больше не придется играть роль королевы. И тут она почувствовала одиночество роскошного ложа, где наслаждение еще никогда не ступало на ноги его пылающего сердца; и снова и снова, извиваясь и корчась там, она повторяла: «Я хочу быть любимой».

Но вера в себя, которая у неё ещё оставалась, давала ей надежду на успех. Герцогиня могла быть задета, тщеславная парижанка могла быть унижена; но женщина видела проблески супружеского счастья, и воображение, мстя за время, потраченное на природу, с удовольствием разжигало неугасимое пламя в её жилах. Она почти достигла ощущения любви; ибо среди мучительных сомнений в том, любят ли её в ответ, она с радостью говорила себе: «Я люблю его!» Что касается её убеждений, религии и мира, она могла растоптать их! Монтриво теперь был её религией. Следующий день она провела в состоянии морального оцепенения, мучимая физическим беспокойством, которое невозможно было выразить словами. Она писала письма, рвала их все и придумывала тысячи невозможных фантазий.

Когда наступал обычный час месье де Монтриво, она пыталась представить, что он придёт, и наслаждалась чувством ожидания. Вся её жизнь была сосредоточена на единственном чувстве — слухе. Иногда она закрывала глаза, напрягая слух, чтобы услышать сквозь пространство, желая уничтожить всё, что разделяло её и её возлюбленного, и таким образом установить ту совершенную тишину, которую звуки могут преодолевать издалека. В её напряжённом сосредоточении тиканье часов вызывало у неё отвращение; она остановила их зловеший, бессвязный звон. Двенадцать ударов полуночи прозвучали из гостиной.

«Ах, Боже!» — воскликнула она, — «увидеть его здесь было бы счастьем. И все же, прошло совсем немного времени с тех пор, как он пришел сюда, ведомый желанием, и голос его наполнил этот будуар». А теперь там ничего нет.

Она вспомнила, как кокетничала с ним, и как это... Кокетство стоило ей возлюбленного, и отчаянные слезы лились долгое время.

Наконец, ее жена сказала: «Возможно, мадам герцогиня не знает, что это так». Два часа ночи; я подумал, что мадам плохо себя чувствует.

«Да, я иду спать», — сказала герцогиня, вытирая слезы. «Но помни, Сюзанна, «Никогда больше не возвращайтесь сюда без приказа; говорю вам это в последний раз».

Целую неделю мадам де Ланже обошла каждый дом, где можно было встретиться с господином де Монтриво. Вопреки своим обычным привычкам, она приходила рано и

уходила поздно; она отказалась от... Она начала танцевать и отправилась к карточным столам. Ее попытки оказались тщетными. Ей не удалось увидеть Армана. Теперь она не смела произнести его имя. Однако однажды вечером, в приступе отчаяния, она обратилась к мадам де Серизи и как можно более небрежно спросила: «Вы, должно быть, поссорились с господином де Монтриво? Его сейчас нет у вас дома».

Графиня рассмеялась. «Значит, он и сюда не приезжает?» — ответила она. «Ему здесь не место». Его можно увидеть где угодно, если уж на то пошло. Он, несомненно, интересуется какой-то женщиной.

«Раньше я думала, что маркиз де Ронкероль был одним из его друзей...» — начала герцогиня ласково.

«Я никогда не слышал, чтобы мой брат говорил, что он знаком с ним».

Мадам де Ланже не ответила. Мадам де Серизи, исходя из молчания герцогини, сделала вывод, что та может безнаказанно применить это наказание к сдержанной дружбе, с которой она давно уже общалась и к которой относилась с горечью.

«Значит, вы скучаете по этому меланхоличному человеку? Я слышала о нем самые невероятные вещи. Заденьте его чувства, и он никогда не вернется, он ничего не прощает; а если вы его любите, он держит вас в цепях. На все, что я о нем говорила, кто-нибудь из тех, кто его превозносит до небес, всегда отвечал: «Он умеет любить!» Люди постоянно говорят мне, что Монтриво отдал бы все ради своего друга; что у него великая натура. Фу! Обществу не нужны такие грандиозные натуры. Люди такого типа прекрасно чувствуют себя дома; пусть они остаются там, а мы пусть наслаждаемся своей приятной мелочностью. Что скажете, Антуанетта?»

Несмотря на то, что герцогиня была светской женщиной, она выглядела взволнованной, но ответила... Естественный голос, обманувший её прекрасную подругу:

«Мне очень жаль, что я его не увижу. Он меня очень интересовал, и я пообещал себе быть его искренним другом. Мне нравятся люди с ярко выраженной натурой, дорогой друг, как бы смешно это ни казалось тебе. Отдаться дураку — это же явное признание, не так ли, что тобой управляют исключительно чувства?»

Мадам де Серизи всегда отдавала предпочтение обычным мужчинам; ее любовник в тот момент маркиз д'Эглемон был прекрасным, высоким мужчиной.

После этого графиня вскоре уехала. Можете быть уверены, мадам де Ланже увидела надежду в отстранении Армана от мира; она тут же написала ему письмо; это было скромное, нежное письмо, которое, несомненно, принесет ему радость, если он все еще любит ее. На следующий день она отправила с ним своего лакея. Когда слуга вернулся, она спросила, передал ли он письмо сам господину де Монтриво, и не смогла сдержать радости, услышав утвердительный ответ. Арман был в Париже! Он оставался один в своем доме; он не выходил в свет!

Так она была любима! Весь день она ждала ответа, который так и не пришёл. Снова и снова, когда нетерпение становилось невыносимым, Антуанетта находила причины для его задержки. Арман чувствовал себя неловко; ответ придёт по почте; но

наступила ночь, и она больше не могла обманывать себя. Это был ужасный день, день боли, ставшей сладкой, день невыносимого сердцебиения, день, когда сердце в буйстве растрчивает сами силы жизни.

На следующий день она послала за ответом.

«Г-н маркиз передал, что навестит мадам герцогиню», — сообщил Жюльен.

Она убежала, опасаясь, что на ее лице отразится счастье, и бросилась на диван. Поглотить её первые ощущения.

«Он идёт!»

Эта мысль разорвала ей душу. И, поистине, горе тем, для кого нетерпение — самое ужасное время бури, в то время как оно умножает и усиливает сладкие радости; ибо в них нет ничего от того пламени, которое оживляет образы вещей, давая им второе существование, так что мы цепляемся за чистую сущность так же крепко, как и за ее внешнее и видимое проявление. Что такое ожидание в любви, как не постоянное черпание из непоколебимой надежды? — подчинение ужасному бичу страсти, пока страсть еще счастлива, и разочарование в реальности еще не наступило. Постоянное проявление силы и томления, называемое ожиданием, несомненно, для человеческой души подобно аромату для цветка, который его источает. Вскоре мы оставляем позади яркие, но не слишком впечатляющие цвета тюльпанов и кореопсиса, но снова и снова возвращаемся, чтобы насладиться сладостью цветов апельсинового дерева или волькамерии, сравниваемых по отдельности, каждый в своей стране, с невестой, полной любви, прекрасную благодаря прошлому и будущему.

Герцогиня познала радости своей новой жизни через восторг, с которым она принимала удары любви. По мере того, как эти перемены происходили в ней, она видела перед собой другие судьбы и лучший смысл в жизни. Спеша в свою гардеробную, она поняла, что значит тщательное украшение и мельчайшее внимание к своему туалету, когда это делается ради любви, а не из тщеславия. Даже сейчас эта подготовка помогала ей перенести долгое ожидание. Когда она одевалась, у нее снова накатывало сильное волнение; она переживала нервные приступы, вызванные ужасной силой, которая приводит весь разум в брожение. Возможно, эта сила — всего лишь болезнь, хотя боль от нее сладка. Герцогиня была одета и ждала в два часа дня.

В половине двенадцатого вечера того же дня месье де Монтриво так и не приехал. Попытка передать мучения женщины, которую можно назвать избалованным ребенком цивилизации, — это попытка сказать, сколько фантазий может вместить сердце в одну мысль. Постарайтесь измерить силы, затрачиваемые душой в вздохе всякий раз, когда звонил колокол; оцените, как истощаются силы, когда мимо проезжает карета, не останавливаясь, и оставляет ее ничком.

«Он что, со мной играет?» — спросила она, когда часы пробили полночь.

Она побледнела, зубы стучали; она хлопнула руками, вскочила и пересекла будуар, вспоминая, как часто он приходил сюда без приглашения. Но она смирилась. Разве она не видела, как он побледнел и вздрогнул от колких иронических замечаний? Тогда мадам де Ланже почувствовала ужас женской участи: мужчина — активная сторона, женщина же должна пассивно ждать, когда любит. Если женщина перегибает палку,

она совершает ошибку, которую мало кто из мужчин может простить; почти каждый мужчина посчитал бы, что женщина унижает себя этой ангельской лестью. Но у Армана была великая натура; он, несомненно, один из немногих, кто может отплатить за такую безмерную любовь любовью, которая длится вечно.

«Что ж, я пойду к нему», — сказала она себе, ворочаясь на кровати и не находя там сна; — «Я пойду к нему. Я не буду утомлять себя, протягивая ему руку, но я протяну её. Человек тысячи увидит в каждом обещании любви и верности». Шаг, который женщина делает навстречу ему. Да, ангелы должны спускаться с небес, чтобы достичь мужчин; и я хочу быть для него ангелом».

На следующий день она написала. Это было письмо, в котором особенно преуспели бы умы десяти тысяч Севинь, которых теперь можно насчитать в Париже. И все же только герцогиня де Ланже, воспитанная мадам принцессой де Бламон-Шоври, могла написать это восхитительное письмо; ни одна другая женщина не могла пожаловаться, не унизившись; могла расправить крылья в таком полете, не споткнувшись от унижения; грациозно подняться в бунте; ругать, не оскорбляя; и прощать, не поступаясь своим личным достоинством.

Жюльен принял записку. Жюльен, как и ему подобные, стал жертвой любовных перипетий. контрмаршруты.

«Что ответил господин де Монтриво?» — спросила она, стараясь сохранять как можно больше безразличия, когда мужчина вернулся, чтобы доложить о своих чувствах.

«М. маркиз попросил меня передать мадам герцогине, что все в порядке».

О, ужасная реакция души на саму себя! Ее сердце растягивают на дыбе перед любопытными свидетелями; и все же она не может произнести ни звука, вынуждена молчать! Одно из бесчисленных страданий богатых!

Прошло больше трех недель. Мадам де Ланже писала снова и снова, но ответа из Монтриво не было. Наконец она сообщила о своей болезни, чтобы получить освобождение от обязанностей по уходу за принцессой и от светских обязанностей. Дома она находилась только со своим отцом, герцогом Наварренским, своей тетей, принцессой де Бламон-Шоври, старой Видам де Памье (своим двоюродным дедом по материнской линии), и дядей своего мужа, герцогом де Гранльё. Эти люди без труда поверили, что герцогиня больна, видя, как она с каждым днем худеет, бледнеет и впадает в уныние. Смутное пылкое чувство любви, боль уязвленной гордости, постоянный укол единственного презрения, которое могло ее коснуться, тоска по радостям, к которым она стремилась с тщетной, непрестанной жадой — все это сказалось на ее разуме и теле; все силы ее натуры были задействованы впустую. Она расплачивалась за свою жизнь, полную иллюзий.

Наконец она отправилась на смотр. Там должен был присутствовать месье де Монтриво. Для герцогини, на балконе Тюильри с королевской семьей, это был один из тех праздничных дней, которые надолго запоминаются. Она выглядела необыкновенно красивой в своей томной одежде; все взгляды были полны восхищения. Именно присутствие Монтриво делало ее такой прекрасной.

Один или два раза они обменялись взглядами. Генерал почти поднялся к ее ногам во всей красе этой солдатской формы, которая производит на женское воображение впечатление, в котором признается даже самый чопорный. Когда женщина очень влюблена и не видела своего возлюбленного два месяца, такой мимолетный момент должен быть чем-то вроде фазы сна, когда глаза обнимают мир, простирающийся вовне. Только женщины или молодые люди могут представить себе тусклый, неистовый голод в глазах герцогини. Что касается мужчин постарше, если во время приступов ранней страсти в юности они и испытывали подобные явления нервной силы, то позже это настолько полностью забывается, что они отрицают само существование пышного экстаза — единственного названия, которое можно дать этим чудесным озарениям. Религиозный экстаз — это отклонение души, сбросившей оковы плоти; тогда как в любовном экстазе все силы души и тела объединяются и слились воедино. Если женщина становится жертвой тиранического безумия, перед которым была вынуждена склониться мадам де Ланже, она принимает одно решительное решение за другим так быстро, что невозможно дать им отчет. Мысль за мыслью возникает и мелькает в её мозгу, подобно тому как облака, гонимые ветром, проносятся по серой завесе тумана, скрывающей солнце. С этого момента факты раскрывают всё. А факты таковы.

На следующий день после смотра мадам де Ланже послала своих слуг в карете и ливреях ждать у дверей маркиза де Монтриво с восьми часов утра до трех часов дня. Арман жил на улице Турнон, в нескольких шагах от Палаты пэров, и в тот же день Палата заседала; но задолго до того, как пэры вернулись в свои дворцы, несколько человек узнали карету и ливреи герцогини. Первым из них был барон де Молинкур. Этот молодой офицер встретил презрение со стороны мадам де Ланже и лучший прием со стороны мадам де Серизи; поэтому он немедленно отправился к своей госпоже и под грифом секретности рассказал ей об этом странном странном явлении.

В одно мгновение новость распространилась с телеграфной скоростью по всем кругам Фобур-Сен Жермен; она достигла Тюильри и Елисейского Бурбона; это была сенсация дня, предмет всех разговоров с полудня до вечера. Почти повсюду женщины отрицали факты, но таким образом, что сообщение подтверждалось; мужчины же все без исключения поверили ему и проявили к мадам де Ланже самый снисходительный интерес. Некоторые из них возложили вину на Армана.

«Этот дикарь из Монтриво — человек из бронзы, — говорили они; — он, несомненно, настоял на том, чтобы раздуть этот скандал».

«Что ж, — ответили другие, — мадам де Ланже совершила весьма великодушную опрометчивость. Отказаться от мира, положения в обществе, состояния и заботы ради своего возлюбленного, да еще и перед всем Парижем, — это такой же благородный государственный удар для женщины, как и тот удар ножом, который так поразил Каннинга в суде. Ни одна из женщин, обвиняющих герцогиню, не сделала бы заявления, достойного древних времен. Героично со стороны мадам де Ланже так откровенно заявить о себе. Теперь ей ничего не остается, кроме как любить Монтриво. Должно быть, в женщине есть что-то великое, если она говорит: „У меня будет только одна страсть“».

«Но что станет с обществом, месье, если вы таким образом почитаете пороки без...» «Уважение к добродетели?» — спросила графиня де Гранвиль, жена генерального прокурора.

Пока в замке, Фобуре и Шоссе д'Антен обсуждали кораблекрушение аристократической добродетели; пока возбужденные молодые люди суеились верхом на лошадях, чтобы убедиться, что карета стоит на улице Турнон, и, следовательно, герцогиня, несомненно, находится в покоях господина де Монтриво, мадам де Ланже, с тяжелым пульсирующим сердцем, пряталась в своем будуаре. А Арман? — он отсутствовал всю ночь и в этот момент прогуливался с господином де Марсе в садах Тюильри. Старшие члены семьи мадам де Ланже навещали друг друга, договариваясь прочесть ей проповедь и совещаясь о том, как лучше всего положить конец скандалу.

Поэтому в три часа дня в гостиной мадам герцогини де Ланже собрались господин герцог Наваррен, Видам де Памье, старая принцесса де Бламон-Шоври и герцог де Гранльё. К ним, как и ко всем любопытным расспрашивавшим, подошел слуга. Они сказали, что их госпожи нет дома; герцогиня не сделала никаких исключений из своих распоряжений. Но эти четыре личности блистали в той высокой сфере, революции и наследственные притязания которой торжественно записываются год за годом в Альманахе де Гота, поэтому без хотя бы краткого описания каждой из них эта картина общества была бы неполной.

Принцесса де Бламон-Шоври в женском мире была, пожалуй, самым поэтичным крахом времен правления Людовика XIII. В расцвете своей красоты, как говорили, она внесла свой вклад в то, чтобы монарх получил прозвище «Любимица». От ее прежних прелестей мало что осталось, кроме удивительно выразительного тонкого носа, изогнутого, как турецкая сабля, — теперь главного украшения лица, напоминающего старую белую перчатку. Добавьте к этому несколько напудренных локонов, пантуфли на высоких каблуках, чепчик с торчащими кружевными петлями, черные варежки и явную склонность к градиенту. Но чтобы отдать должное этой даме, следует сказать, что она появлялась в вечерних платьях с глубоким декольте (настолько высокое было ее мнение о своей жалости), носила длинные перчатки и подкрашивала щеки классическими румянами от Martin's. Устрашающая доброта в морщинах, поразительный блеск в глазах старухи, глубокое достоинство во всей ее личности, в сочетании с тройным острым остроумием ее языка и безошибочной памятью, делали ее настоящей властью в стране. Весь «Кабинет хартий» был записан в двух экземплярах на пергаменте ее мозга. Она знала все генеалогии каждого знатного дома Европы — князей, герцогов и графов — и могла поклясться в том, что знала последних потомков Карла Великого по прямой линии. Никакое присвоение титула не могло ускользнуть от принцессы де Бламон-Шоври.

Молодые люди, желавшие занять высокое положение при дворе, амбициозные мужчины и молодые замужние женщины оказывали ей неустанное почтение. Ее салон задавал тон всему району Фобур-Сен-Жермен. Слова этой Талейран в юбках воспринимались как окончательные решения. Люди приходили к ней за советом по вопросам этикета и обычаев, или за уроками хорошего вкуса. И, по правде говоря, ни одна другая старуха не могла так аккуратно убрать табакерку в карман, как принцесса;

движения её юбок, когда она садилась или скрещивала ноги, отличались точностью и грацией, которые приводили в отчаяние самых изысканных дам молодого поколения. Голос оставался в её голове на протяжении трети её жизни; но она не могла предотвратить его опущение в носовые перепонки, что придавало ему особую выразительность. Она всё ещё сохраняла сто пятьдесят тысяч ливров своего огромного состояния, поскольку Наполеон щедро вернул ей её леса; так что лично и в вопросах имущества она была женщиной немалого значения.

Этот любопытный антиквариат, сидящий на низком стуле у камина, беседовал с Видамом де Памье, современными руинами. Видам был крупным, высоким и худощавым мужчиной, сеньором старой закалки, бывшим командором Мальтийского ордена. Его шея всегда была так сильно сдавлена удушающим устройством, что щеки слегка выпирали над ней, и он держал голову высоко; многим это придавало бы ему вид самодостаточности, но в Видаме это оправдывалось вольтеровским остроумием. Его широко раскрытые глаза, казалось, видели всё, и, по сути, они видели почти всё. В целом, его фигура была идеальным образцом аристократического телосложения: стройный и подтянутый, гибкий и приятный. Казалось, он мог быть податливым или неподвижным по своему желанию, извиваться и сгибаться, или поднимать голову, как змея.

Герцог Наваррийский расхаживал взад и вперед по комнате вместе с герцогом Гранльё. Обоим было около пятидесяти шести лет, и они были еще здоровы; оба были невысокими, тучными, пышнотелыми, несколько румяными мужчинами с усталыми глазами и уже начавшими отвисать нижними губами. Если бы не изысканная утонченность акцента, утонченная учтивость и непринужденность манер, которая могла в одно мгновение смениться на дерзость, поверхностный наблюдатель мог бы принять их за пару банкиров. Однако такая ошибка была бы невозможна, если бы слушатель мог услышать их разговор и увидеть, как они настороженно общаются с людьми, которых боятся, легкомысленны и заурядны со своими равными, скользки с подчиненными, которых придворные и государственные деятели умеют усмирить тактичным словом или унизить неожиданной фразой.

Таковы были представители великой знати, решившие погибнуть, а не подчиниться каким-либо переменам. Эта знать заслуживала как похвалы, так и порицания в равной мере; знать, которую никогда не будут судить беспристрастно, пока какой-нибудь поэт не расскажет, как радостно знать повиновалась королю, хотя их головы пали под топором Ришелье, и как глубоко они презирали гильотину 1889 года как гнусную месть.

Ещё одной заметной чертой всех четверых был тонкий голос, который на удивление хорошо сочетался с их взглядами и манерами. По крайней мере, между собой они были на равных. Никто из них не выдал ни малейшего признака раздражения по поводу выходки герцогини, но все они научились при дворе скрывать свои чувства.

И здесь, чтобы критики не осудили инфантильность начала предстоящей сцены, пожалуй, стоит напомнить читателю, что Локк, однажды оказавшись в компании нескольких знатных лордов, известных не меньше своим остроумием, чем воспитанием и политической последовательностью, злорадно развлекался, записывая

их разговор с помощью какой-то собственной стенографии; а потом, когда он пересказал им запись, чтобы посмотреть, что они смогут из нее понять, все они разразились смехом. И, по правде говоря, блестящий жаргон, циркулирующий среди высших слоев общества в каждой стране, дает очень мало золота, если его промыть в пепле литературы или философии. В каждом слое общества (за исключением нескольких парижских салонов) любопытный наблюдатель обнаруживает постоянное количество глупости под более или менее прозрачным лаком. Разговор, содержащий хоть какой-то смысл, — редкое исключение, а беотиянство — распространенная валюта в каждом регионе. В высших кругах им неизбежно приходится больше говорить, но чтобы компенсировать это, они меньше думают. Мышление — утомительное занятие, а богатые предпочитают, чтобы их жизнь протекала легко и без усилий. Именно сравнивая фундаментальную суть шуток по мере продвижения по социальной лестнице от уличного мальчишки до пэра Франции, наблюдатель приходит к истинному пониманию аксиомы г-на де Талейрана: «Манера — это всё»; элегантно интерпретации юридической аксиомы: «Форма важнее содержания». В глазах поэта преимущество на стороне низших классов, ибо они редко упускают возможность придать своим мыслям некий грубоватый поэтический оттенок. Возможно, это же наблюдение может объяснить бесплодность салонов, их пустоту, поверхностность и отвращение, которое испытывали способные люди, обменивая свои идеи на столь жалкие гроши.

Герцог внезапно остановился, словно ему пришла в голову какая-то блестящая идея, и заметил своему соседу:

«Значит, вы продали Торнтон?»

«Нет, он болен. Я очень боюсь, что потеряю его, и это было бы необычно».

Извините. Он очень хороший охотник. Вы знаете, какая герцогиня де Мариньи?

«Нет. Я не ходила сегодня утром. Я как раз собиралась зайти, когда вы зашли поговорить об Антуанетте. Но вчера она была очень больна; ее отдали на лечение, она приняла причастие».

«Её смерть изменит положение вашей кузины».

«Вовсе нет. Она завещала свою собственность при жизни, сохранив лишь ежегодную ренту. Поместье Гебриан она передала своей племяннице, мадам де Суланж, с ежегодным обременением».

«Это будет огромная потеря для общества. Она была доброй женщиной. Ее семья будет скучать по ней; ее опыт и советы имели большой вес. Ее сын Мариньи — приятный человек; у него острый ум, он умеет говорить. Он приятный, очень приятный. Приятный? О, этого никто не может отрицать, но... совершенно неуравновешенный. Что ж, и все же это удивительно, он очень проницателен. На днях он обедал в клубе с этой богатой компанией из Шоссе-д'Антен. Ваш дядя (он всегда ходит туда играть в карты) застал его там, к своему удивлению, и спросил, является ли он членом клуба. «Да, — сказал он, — я сейчас не хожу в высшее общество; я живу среди банкиров». — Знаете почему?» — добавил маркиз с многозначительной улыбкой.

«Нет», — ответил герцог.

«Он без ума от этой маленькой мадам Келлер, дочери Гондревилля; она совсем недавно...» «Женат и, как говорят, пользуется большой популярностью в этом кругу».

«Похоже, у Антуанетты нет недостатка во времени», — заметила Видама.

«Моя привязанность к этой женщине побудила меня найти необычное занятие», — ответил он. Принцесса, убирая табакерку обратно в карман.

«Дорогая тётя, я крайне огорчён», — сказал герцог, резко остановившись. «Никто, кроме одного из людей Бонапарта, не мог бы просить такую непристойность у светской дамы». Между нами говоря, Антуанетта, возможно, сделала более правильный выбор.

«Монтриво — очень старинная и влиятельная семья, дорогая моя, — ответила принцесса; — они связаны родственными узами со всеми знатнейшими домами Бургундии. Если ветвь Дульмен из рода Арсху Риводульт прервется в Галисии, Монтриво унаследуют титул и поместья Арсху. Они наследуют через своего прадеда».

"Вы уверены?" «Я знаю это лучше, чем отец Монтриво.

Я рассказывал ему об этом, я часто с ним виделся; и несмотря на то, что он был кавалером нескольких орденов, он только смеялся; он был энциклопедистом. Но его брат во время эмиграции извлек из этих отношений пользу. Я слышал, что его северные родственники были очень добры ко мне во всех отношениях. —»

«Да, конечно. Граф де Монтриво умер в Санкт-Петербурге», — сказала Видама. «Я встретил его там. Это был крупный мужчина с невероятной страстью к устрицам.

«Сколько же он съел?» — спросил герцог де Гранльё.

«Десять дюжин каждый день».

«И разве они не были с ним не согласны?»

«Ни за что на свете».

«Это же невероятно! Если бы у него не было ни камней в почках, ни подагры, ни каких-либо других жалоб, вследствие этого?»

«Нет; у него было отличное здоровье, и он погиб в результате несчастного случая».

«Случайно! Природа подтолкнула его к устрицам, так что, вероятно, они ему были необходимы; ведь...» В определённой степени наши преобладающие вкусы являются условиями нашего существования.

«Я разделяю ваше мнение», — сказала принцесса с улыбкой.

«Мадам, вы всегда всё интерпретируете со злобой», — ответил маркиз.

«Я лишь хочу, чтобы вы поняли, что эти замечания могут оставить неверное впечатление в сознании молодой женщины», — сказала она и, прервав себя, воскликнула: «Но эта племянница, эта моя племянница!»

«Дорогая тётя, я до сих пор отказываюсь верить, что она могла учиться у господина де Монтриво», — сказала она. Герцог Наваррийский.

«Фу!» — ответила принцесса.

«Что вы думаете, Видаме?» — спросил маркиз.

«Если бы герцогиня была наивной простачкой, я бы подумал, что...»

«Но когда женщина влюблена, она превращается в наивную простачку», — парировала принцесса. «Бедная моя Видама, ты, должно быть, стареешь».

«В конце концов, что же делать?» — спросил герцог.

«Если моя дорогая племянница мудра, — сказала принцесса, — она отправится ко двору сегодня вечером — к счастью, сегодня понедельник, день приема, — и вы должны проследить, чтобы мы все сплотились вокруг нее и опровергли этот нелепый слух. Есть сотни способов объяснить ситуацию; и если маркиз де Монтриво — джентльмен, он придет нам на помощь».

Мы заставим этих детей прислушаться к здравому смыслу...»

«Но, дорогая тётя, сказать господину де Монтриво правду в лицо нелегко. Он один из учеников Бонапарта, и у него есть положение. Более того, он один из влиятельных людей своего времени; он высокопоставленный гвардеец и очень полезен там. В нём нет ни капли амбиций. Он как раз тот человек, который скажет: „Вот моё назначение, оставьте меня в покое“, если король скажет хоть слово, которое ему не понравится».

«Тогда, скажите на милость, каково его мнение?»

«Очень нездорово».

«В самом деле, — вздохнула принцесса, — король, как и всегда, является якобинцем при правлении...» «Лилии Франции».

«О! Не так уж и плохо», — сказала Видама.

«Да, я знаю его давно. Человек, который во время ее первого публичного государственного ужина указал своей жене на Дворец со словами: „Это наши люди“, мог только...»

Он мерзкий негодяй. Я вижу в короле месье точно такого же, как и прежде. Этот плохой брат, который так неправильно голосовал в своем отделе Учредительного собрания, непременно сблизится с либералами и позволит им спорить и болтать. Эта философская болтовня будет так же опасна для младшего брата, как и для старшего; этот толстяк с ограниченным умом развлекается созданием трудностей, и как его преемник выберется из них, я не знаю; он испытывает отвращение к своему младшему брату; он был бы рад, умирая, думать: «Он недолго будет править...»

«Тетя, он — король, и для меня большая честь служить ему...»

«Но разве ваша должность лишает вас права на свободу слова, дорогая? Вы происходите из столь же знатного рода, как и Бурбоны. Если бы Гизы проявили чуть больше решительности, Его Величество сегодня был бы никем. Мне пора уйти из этого мира, благородство умерло. Да, с вами, мои дети, все кончено», — продолжила она, глядя на Видама. «Что сделала моя племянница, что весь город говорит о ней? Она неправа; я не одобряю ее поведение, бесполезный скандал — это ошибка; поэтому у

меня все еще есть сомнения по поводу этого пренебрежения к внешнему виду; я ее воспитала, и я знаю, что...»

В этот самый момент герцогиня вышла из будуара. Она узнала голос своей тети и услышала имя Монтриво. Она все еще была в своем свободном утреннем платье; и как только она вошла, местье Гранлье, небрежно взглянув в окно, увидел, как карета его племянницы отъезжает по улице. Герцог взял лицо дочери в обе руки и поцеловал ее в лоб.

«Значит, дорогая моя, — сказал он, — ты не понимаешь, что происходит?»

«Случилось что-нибудь необычное, дорогой отец?»

«Весь Париж верит, что вы с господином де Монтриво».

«Дорогая Антуанетта, ты ведь все время была дома, не так ли?» — спросила принцесса. протянул руку, которую герцогиня поцеловала с нежностью и уважением.

«Да, дорогая мама; я все время была дома. И, — добавила она, поворачиваясь, чтобы поприветствовать Видаму и маркиза, — я хотела бы, чтобы весь Париж думал, что я с господином де Монтриво».

Герцог вскинул руки, в отчаянии сжал их вместе и скрестил на груди.

«Разве вы не представляете, к чему это приведёт?» — наконец спросил он.

Но престарелая принцесса внезапно поднялась и, пристально глядя на герцогиню, покраснелась, и ее взгляд опустился. Мадам де Шоври нежно притянула ее к себе и сказала: «Мой маленький ангел, позволь мне поцеловать тебя!»

Она нежно поцеловала племянницу в лоб и, продолжая улыбаться, крепко держала ее за руку.

«Теперь мы не под властью Валуа, дорогая. Ты скомпрометировала своего мужа и свое положение. Тем не менее, мы все устроим так, чтобы все исправить».

«Но, дорогая тетя, я совсем не хочу всё исправлять. Я хочу, чтобы весь Париж говорил, что я была сегодня утром с господином де Монтриво. Если вы разрушите это убеждение, как бы плохо это ни было».

Пусть это и будет правдой, но вы окажете мне медвежью услугу.

«Неужели ты действительно хочешь погубить себя, дитя, и огорчить свою семью?»

«Моя семья, отец, невольно обрекла меня на непоправимое несчастье, когда пожертвовала мной ради семейных интересов. Возможно, вы осудите меня за стремление к облегчению тягот, но вы, безусловно, посочувствуете мне».

«После всех тех бесконечных усилий, которые вы прилагаете, чтобы должным образом устроить своих дочерей!» — пробормотал г-н де Наваррейн обращаясь к Видаме.

Принцесса стряхнула с юбки случайно попавшую в нее шишку табака. «Моя дорогая девочка, — сказала она, — будь счастлива, если можешь. Мы говорим не о том, чтобы нарушить твоё счастье, а о том, чтобы примирить его с общественными обычаями. Все мы здесь, собравшиеся, знаем, что брак — это порочный институт,

смягченный любовью. Но если ты заводишь любовника, зачем тебе устраивать постель на площади Карусель? Послушай, будь немного благоразумнее и выслушай, что мы скажем».

«Я слушаю».

«Госпожа герцогиня, — начал герцог де Гранльё, — если бы забота о племянниках входила в обязанности дяди, он должен был бы занимать соответствующую должность; общество было бы обязано оказывать ему почести, награды и выплачивать жалованье, точно так же, как если бы он служил королю. Поэтому я здесь не для того, чтобы говорить о своем племяннике, а о ваших собственных интересах. Давайте немного заглянем вперед. Если вы будете упорствовать в создании скандала — я уже видел этого зверя раньше, и признаюсь, он мне не очень нравится — Ланже достаточно скуп, и ему наплевать на всех, кроме себя; он уйдет; он будет цепляться за ваши деньги и оставит вас бедными, и, следовательно, вы станете никем. Доход в сто тысяч ливров, который вы только что унаследовали от вашей прабабушки по материнской линии, пойдет на развлечения его любовниц». Закон свяжет вас и заткнет вам рот; вам придется говорить «Аминь» всем этим договоренностям. Предположим, господин де Монтриво бросит вас... Боже мой! Не будем же так волноваться, моя дорогая племянница; мужчина не бросает молодую и красивую женщину; тем не менее, мы видели так много красивых женщин, оставшихся безутешными, даже среди принцесс, что вы позволите себе такое предположение, почти невозможное предположение, в которое я очень хочу верить. — Ну, предположим, что он уйдет, что с вами будет без мужа? Берегите себя и свою красоту, заботясь о ней; ведь красота, в конце концов, — это парашют женщины, а муж — это еще и защита от худшего. Я предполагаю, что вы счастливы и любимы до конца, и я полностью исключаю из рассмотрения неприятные или несчастные события. В таком случае, к счастью или к несчастью, у вас могут быть дети. Кем они будут? Монтриво? Что ж, конечно, они не унаследуют все состояние своего отца. Вы захотите отдать им всё, что у вас есть; он захочет сделать то же самое. Нет ничего более естественного, боже мой! И вы обнаружите, что закон против вас. Сколько раз мы видели, как наследники подают иски о возврате имущества от внебрачных детей? В каждом суде мира рассматриваются подобные дела. Возможно, вы создадите систему *fidei commissum*; и если доверительный управляющий предаст ваше доверие, у ваших детей не будет против него защиты; и они будут разорены.

Поэтому выбирайте внимательно. Вы видите всю сложность ситуации. Во всех возможных смыслах ваши дети будут принесены в жертву прихотям вашего сердца; у них не будет признанного статуса. Пока они маленькие, они будут очаровательны; но, Господи! однажды они... Мы, старые джентльмены, будем упрекать вас за то, что вы думаете только о себе. Мы, старики, знаем об этом не понаслышке. Мальчики вырастают во мужчин, а мужчины — неблагоприятные существа. Когда я был в Германии, разве я не слышал, как молодой де Хорн после ужина говорил: «Если бы моя мать была честной женщиной, я был бы правящим князем!» «Если?» Мы всю жизнь слушали, как плебеи говорят «если». «Если» привело к революции. Когда мужчина не может возложить вину на отца или мать, он возлагает ответственность за свою тяжелую участь на Бога. Короче говоря, дорогое дитя, мы здесь, чтобы открыть

тебе глаза. Я скажу все, что хотел сказать, в нескольких словах, над которыми тебе лучше поразмыслить: «Женщина никогда не должна ставить своего мужа на место».

«Дядя, пока мне было наплевать на всех, я мог считать; тогда я смотрел на проценты, потому что...» Ты это делаешь; теперь я могу только чувствовать.

«Но, моя дорогая девочка, — возразила Видама, — жизнь — это всего лишь совокупность интересов и чувств; чтобы быть счастливой, особенно в твоём положении, нужно стараться примирить свои чувства со своими интересами. Гризетта может любить по своему желанию, это достаточно понятно, но у тебя прекрасное состояние, семья, имя и положение при дворе, и ты не должна выбрасывать все это на ветер. И что мы просили тебя сделать, чтобы все это сохранить? — Осторожно маневрировать, а не нарушать общественные условности. Господи! Мне скоро исполнится восемьдесят лет, и я не могу вспомнить ни при каком режиме любви, которая стоила бы той цены, которую ты готов заплатить за любовь этого счастливого молодого человека».

Герцогиня одним взглядом заставила Видаму замолчать; если бы Монтриво мог это увидеть! Бросив на него взгляд, он бы всё простил.

«На сцене это было бы очень эффектно, — заметил герцог де Гранльё, — но всё это ничего не значит, когда речь идёт о вашем приданом, положении и независимости. Вы неблагодарны, моя дорогая племянница. Вы вряд ли найдёте много семей, где у родственников хватило бы смелости передать мудрость, приобретённую опытом, и заставить необдуманных молодых людей прислушаться к разуму. Откажитесь от своего спасения через две минуты, если вам угодно обречь себя на гибель; хорошо, конечно; но хорошенько подумайте заранее, прежде чем отказываться от своего дохода. Я не знаю ни одного исповедника, который бы облегчал муки бедности. Думаю, я имею право говорить с вами так; ибо если вы разорены, я единственный, кто может предложить вам убежище. Я почти дядя Ланже, и только я имею право обвинить его в неправоте».

Герцог Наваррский очнулся от мучительных размышлений.

«Раз уж ты заговорила о чувствах, дитя мое, — сказал он, — позволь мне напомнить тебе, что женщина, носящая твое имя, должна быть движима чувствами, которые не трогают простых людей». Разве вы хотите дать преимущество либералам, этим иезуитам Робеспьера, которые делают все возможное, чтобы очернить дворянство? Некоторые вещи наваррец не может сделать, не нарушив долга перед своим домом. Вы не одиноки в своем бесчестии...»

«Ну-ну!» — сказала принцесса. «Позор? Не поднимайте такой шум из-за поездки пустой кареты, дети, и оставьте меня наедине с Антуанеттой. Все трое, идите и пообедайте со мной. Я возьму на себя все уладить. Вы, мужчины, ничего не понимаете; вы уже начинаете говорить кисло, и я не хочу видеть ссору между вами и моей дорогой дочерью. Окажите мне любезность и пойдите».

Вероятно, трое джентльменов догадались о намерениях принцессы; они попрощались.

М. де Наваррен поцеловал дочь в лоб и сказал: «Иди сюда, будь хорошей девочкой. Еще не поздно, если ты захочешь».

«Не могли бы мы найти в семье какого-нибудь хорошего человека, с которым можно было бы поссориться из-за этого?» «Монтриво?» — спросил Видам, когда они спускались вниз.

Когда женщины остались наедине, принцесса жестом пригласила племянницу сесть на небольшой низкий стульчик рядом с ней.

«Моя жемчужина, — сказала она, — в этом мире, я не знаю ничего более оклеветанного, чем Бог и восемнадцатый век; ибо, оглядываясь на свою молодость, я не помню, чтобы хоть одна герцогиня попирала приличия так, как ты только что сделала. Романисты и писатели опорочили правление Людовика XV. Не верь им. Дю Барри, дорогая моя, была ничуть не хуже вдовы Скаррон, и к тому же более приятной из двух. В мое время женщина могла сохранить свое достоинство среди своих галантных избранниц. Неосторожность погубила нас и положила начало всем бедам. Философы — ничтожества, которых мы допускали в наши салоны, — не имели ни благодарности, ни чувства приличия, кроме как составить список наших сердец, оклеветать нас всех и вся и обрушиться с критикой на веки в отместку за нашу доброту. Люди не в состоянии судить ни о чем; они смотрели на факты, а не на...» на форме. Но мужчины и женщины тех времен, мое сердце, были столь же примечательны, как и в любой другой период монархии. Ни один из ваших Вертеров, ни одна из ваших знатных особ, как их называют, ни один из ваших мужчин в желтых козых перчатках и брюках, скрывающих слабость ног, не стал бы пересекать Европу в одежде странствующего торговца, чтобы бросить вызов кинжалам герцога Моденского и запереться в гардеробной дочери регента, рискуя жизнью. Ни один из ваших маленьких больных чахоткой в очках в черепаховой оправе не стал бы прятаться в шкафу шесть недель, как Лаузун, чтобы поддержать мужество своей любовницы, пока она рожала. В мизинце господина де Жокура было больше страсти, чем во всей вашей расе торговцев, которые оставляют женщину на произвол судьбы! Просто скажите мне, где найти страницу, которую разрезали бы на куски и закопали под половицы за один поцелуй в честь Кёнигсмарка. Палец в перчатке!

«По правде говоря, сегодня роли поменялись местами, и от женщин ожидают проявления преданности мужчинам. Эти современные джентльмены стоят меньше и больше думают о себе. Поверьте мне, дорогая, все эти авантюры, которые стали достоянием общественности и теперь обращены против нашего доброго Людовика XV, поначалу держались в строжайшей тайне. Если бы не стая поэтов-изгоев, писак и моралистов, которые крутились вокруг наших фрейлин и распространяли их клевету, наша эпоха предстала бы в литературе как благополучный век. Я оправдываю век, а не его периферию. Возможно, сто знатных женщин были потеряны; но на каждую мошенника приходилось десять, подобно газетам после битвы, подсчитывающим потери побежденной стороны. И в любом случае, я не знаю, могут ли Революция и Империя упрекать нас; это были грубые, скучные, распутные времена. Фу! Это отвратительно. Это бордели французской истории».

«Это преамбула, дитя мое, — продолжила она после паузы, — подводит меня к тому, что я должна сказать. Если ты любишь Монтриво, ты совершенно свободна любить его, как тебе угодно, и так сильно, как можешь. Я знаю по опыту, что, если тебя не посадят в тюрьму (но запирать людей сейчас не в моде), ты будешь делать все, что захочешь; я бы поступила так же в твоём возрасте. Только, милая, я не должна была отказываться от своего права быть...»

мать будущих герцогов де Ланже. Так что, обращайтесь внимание на внешность. Видама права. Ни один мужчина не стоит ни одной из тех жертв, на которые мы, по глупости, идем ради их любви. Поставьте себя в такое положение, чтобы вы могли оставаться женой господина де Ланже, если вам не посчастливится раскаяться. Когда вы станете старой женщиной, вы будете очень рады слушать мессу при дворе, а не в каком-нибудь провинциальном монастыре. В этом и заключается весь вопрос. Одна неосторожность означает пособие и скитания; это означает, что вы во власти своего любовника; это означает, что вам придется терпеть наглость женщин, которые не так честны, именно потому, что они очень вульгарно остроумны. Было бы в сто раз лучше поехать в Монтриво ночью в карете, замаскировавшись, вместо того, чтобы отправлять свою карету средь бела дня. Ты маленькая дурочка, моя дорогая!

Ваша осанка льстила его тщеславию; ваша личность могла бы покорить его сердце. Всё сказанное мной справедливо и правдиво; но я, со своей стороны, не виню вас. Вы отстали от времени на два столетия со своими ложными представлениями о величии. Вот, позвольте нам уладить ваши дела и скажите, что Монтриво напоил ваших слуг, чтобы удовлетворить своё тщеславие и скомпрометировать вас...»

Герцогиня с размахом поднялась на ноги. «Ради всего святого, тётя, не клеветайте на него!»

Глаза старой принцессы сверкнули.

«Дорогое дитя, — сказала она, — мне бы хотелось пощадить твои иллюзии, которые не были бы губительными. Но теперь всем иллюзиям должен прийти конец. Ты бы смягчил меня, если бы я не была так стара. Ну же, не раздражай его, нас или кого-либо еще. Я берусь всех угодить; но пообещай мне, что не сделаешь ни шагу с тех пор, пока не посоветуешься со мной. Расскажи мне все, и, возможно, я все исправлю».

«Тётя, я обещаю...»

«Чтобы рассказать мне всё?»

«Да, всё. Всё, что можно рассказать».

«Но, моя дорогая, я хочу знать именно то, о чём нельзя говорить. Давай поймём друг друга досконально. Пойдём, позволь мне прикоснуться своими иссохшими старыми губами к твоему прекрасному лбу. Нет; позволь мне делать, как я хочу. Я запрещаю тебе целовать мои кости. У стариков есть своя собственная учтивость... Вот, отведи меня в карету», — добавила она, поцеловав племянницу.

«Тогда могу ли я пойти к нему под видом другого человека, дорогая тётя?»

«Да, конечно. Эту историю всегда можно опровергнуть», — сказала старая принцесса.

Это была единственная мысль, которую герцогиня, несомненно, усвоила из проповеди. Когда мадам де Шоври сидела в углу своей кареты, мадам де Ланже грациозно попрощалась с ней и поднялась в свою комнату. Она снова была совершенно счастлива.

«Моя девушка покорила бы его сердце; моя тетя права; мужчина, конечно же, не может отказать». Красивая женщина, когда понимает, как себя предложить.

В тот вечер в Елисейском дворце Бурбонов герцог де Наваррен, господин де Памье, господин де Марсе, господин де Гранльё и герцог де Мофриньёз триумфально опровергли распространявшиеся слухи о герцогине де Ланже. Многие офицеры и другие чиновники и другие Люди видели Монтриво, гуляющего тем утром в Тюильри, поэтому эту нелепую историю списали на случайность, которая принимает всё, что ей предлагают. И поэтому, несмотря на то, что карета герцогини ждала у дверей Монтриво, её характер стал таким же ясным и безупречным, как меч Мембрино после того, как Санчо его отполировал.

Но в два часа дня господин де Ронкероль проезжал мимо Монтриво по безлюдной улочке и с улыбкой сказал: «Ваша герцогиня приближается. Вперед, продолжайте!» — добавил он и отхлестнул свою кобылу кнутом, после чего она, словно пуля, помчалась вниз по склону. проспект.

Через два дня после безрезультатного скандала мадам де Ланже написала письмо господину де Монтриво. Это письмо, как и предыдущие, осталось без ответа. На этот раз она предприняла собственные действия и подкупила человека господина де Монтриво, Огюста. И вот в восемь часов вечера её ввели в апартаменты Армана. Это была не та комната, где произошла та тайная сцена; всё было совершенно иначе. Герцогине сказали, что генерала не будет дома в тот вечер. У него два дома? Мужчина не дал ответа.

Мадам де Ланже купила ключ от комнаты, но не всю преданность этого человека.

Оставшись одна, она увидела свои четырнадцать писем, лежащих на старинной подставке, все они были непомятыми и нераскрытыми. Он их не читал. Она опустилась в кресло и на некоторое время потеряла сознание. Когда она пришла в себя, Огюст держал в руке уксус, чтобы она вдохнула его аромат.

«Карета; скорее!» — приказала она.

Подъехала карета. Она с бешеной скоростью помчалась вниз и отдала распоряжение, чтобы никого не впускали. Двадцать четыре часа она лежала в постели, и рядом с ней не было никого, кроме ее служанки, которая время от времени приносила ей чашку воды с ароматом апельсинового цветка. Сюжетта пару раз услышала стоны своей госпожи и мельком увидела слезы в ее блестящих глазах, теперь окруженных темными тенями.

На следующий день, сквозь слезы отчаяния, мадам де Ланже приняла решение. Ее деловой представитель пришел на встречу и, несомненно, получил какие-то указания. После этого она послала за Видамом де Памье и, пока ждала, написала письмо М. де Монтриво. Видам прибыл вовремя, около двух часов дня, и застал свою молодую

кузину бледной и изможденной, но смиренной; никогда еще ее божественная красота не была столь поэтична, как сейчас, в томной агонии.

«Этим свиданием ты обязан своим восьмидесятичетырем годам, дорогой кузен, — сказала она. — Ах! Не улыбайся, умоляю тебя, когда несчастная женщина опустилась до самой низшей точки несчастья. Ты джентльмен, и после приключений твоей молодости ты должен испытывать некоторое снисхождение к женщинам».

«Никаких», — сказал он.

"Действительно!"

«Всё складывается в их пользу».

«Ах! Что ж, вы принадлежите к ближайшему кругу семьи; возможно, вы будете последним родственником, последним другом, чью руку я пожму, чтобы попросить о вашей помощи. Не могли бы вы, дорогая Видама, оказать мне услугу, о которой я не мог просить ни собственного отца, ни своего дяди?» Гранльё, и ни одной женщины? Вы не можете не понять. Я умоляю вас выполнить мое поручение, а затем забыть о том, что вы сделали, что бы это ни было. Дело в следующем: возьмете ли вы это письмо и пойдете к господину де Монтриво? Увидитесь ли вы с ним лично, передадите ему письмо и спросите его, как вы, мужчины, можете спрашивать о вещах между собой — ибо у вас есть кодекс чести между мужчинами, который вы не используете с нами, и другой способ отношения к вещам между собой — спросите его, будет ли он читать это письмо? Не в вашем присутствии. Некоторые чувства люди скрывают друг от друга. Я даю вам право сказать, если вы сочтете необходимым привести его, что для меня это вопрос жизни и смерти. Если он соизволит... —»

«Дейз!» — повторил Видаме.

«Если он соизволит это прочесть, — с достоинством продолжила герцогиня, — скажите еще кое что. Вы пойдете к нему около пяти часов, потому что я знаю, что сегодня в это время он будет обедать дома. Очень хорошо. В ответ он должен прийти ко мне. Если через три часа, к восьми, он не выйдет из дома, все будет кончено. Герцогиня де Ланже исчезнет из мира. Я не умру, дорогой друг, нет, но никакая человеческая сила больше никогда не найдет меня на этой земле. Приходите пообедать со мной; по крайней мере, один друг будет со мной в последних муках. Да, дорогой кузен, сегодня вечером решится моя судьба; и что бы со мной ни случилось, я пройду испытание огнем. Вот! Ни слова. Я не буду слушать никаких комментариев или советов... Давайте поболтаем и посмеемся вместе», — добавила она, протягивая руку, которую он поцеловал. «Мы будем подобны двум седовласым философам, научившимся наслаждаться жизнью до последнего момента. Я буду выглядеть наилучшим образом; я буду для вас очень очаровательным. Возможно, вы будете последним мужчиной, кто увидит герцогиню де Ланже».

Виконт поклонился, взял письмо и ушел, не сказав ни слова. В пять часов он вернулся. Его кузина постаралась ему угодить, и выглядела она поистине очаровательно. Комната была увешана цветами, словно для праздника; ужин был изысканным. Для седовласой Видамы герцогиня проявила весь блеск своего ума; она была очаровательнее, чем когда-либо прежде. Сначала Видама пыталась воспринимать

все эти приготовления как шутку молодой женщины; но время от времени эта иллюзия рассеивалась, очарование прекрасной кухни разрушалось. Он заметил дрожь, вызванную каким-то внезапным страхом, и однажды во время паузы она, казалось, прислушалась к нему.

«В чём дело?» — спросил он.

«Тише!» — сказала она.

В семь часов герцогиня на несколько минут оставила его. Вернувшись, она была одета так, как могла бы одеться ее служанка для путешествия. Она попросила гостя сопровождать ее, взяла его за руку, вскочила в наемную карету, и к без пятнадцати восьми они уже стояли у дверей господина де Монтриво.

Тем временем Арман читал следующее письмо: «МОЙ ДРУГ, — я зашёл к тебе в комнату на несколько минут, не сказав тебе об этом; я нашёл там свои письма и забрал их. Это не может быть безразличием, Арман, между нами; ненависть проявилась бы совсем иначе. Если ты любишь меня, прекрати эту жестокую игру, иначе ты убьёшь меня, а потом, узнав, как сильно тебя любили, можешь впасть в отчаяние. Если я тебя неправильно понял, если у тебя нет чувств. Если же ко мне вы испытываете отвращение, подразумевающее презрение и отвращение, то я теряю всякую надежду. Человек никогда не оправится от таких чувств. Вы не будете ни о чем жалеть. Какой бы ужасной ни была эта мысль, она утешит меня в моей долгой скорби. Сожаления? О, мой Арман, пусть я никогда о них не узнаю; если бы я думала, что причинила вам хоть одно сожаление... Но нет, я не скажу вам, какое отчаяние я бы испытала. Если бы я была еще жива, я не смогла бы быть вашей женой; было бы уже слишком поздно!

«Теперь, когда я всецело отдал себя тебе в мыслях, кому же еще мне отдать себя? — Богу. Глаза, которые ты любил лишь мгновение, никогда не взглянут на лицо другого человека; и пусть слава Божья ослепит их для всего остального. Я никогда больше не услышу человеческих голосов с тех пор, как услышал твой — такой нежный вначале, такой ужасный вчера; ибо мне кажется, что я все еще нахожусь лишь на пороге твоей мести. И пусть теперь воля Божья поглотит меня. Между Его гневом и твоим, мой друг, у меня не останется ничего, кроме небольшого пространства для слез и молитв».

«Возможно, вы удивляетесь, почему я вам пишу? Ах! Не думайте обо мне плохо, если я сохраняю проблеск надежды и в последний раз вздыхаю, прощаясь со счастливой жизнью, прежде чем навсегда покину её. Я нахожусь в ужасном положении. Я чувствую всё внутреннее спокойствие, которое приходит, когда принято великое решение, даже когда слышу последние рычания бури. Когда ты отправился в то ужасное приключение, которое так привлекло меня к тебе, Арман, ты прошёл из пустыни в оазис с хорошим проводником, который показал тебе путь. Что ж, я выхожу из оазиса в пустыню, и ты для меня безжалостный проводник. И всё же только ты, мой друг, можешь понять, как печально в последний раз оглядываться на счастье — тебе, и только тебе, я могу стонать, не краснея. Если ты удовлетворишь мою просьбу, я буду счастлив; если ты будешь неумолим, я искуплю свою вину. В конце концов, разве не естественно, что...» Разве женщина должна желать жить, исполненная всех благородных чувств, в память о своей подруге? О, моя единственная любовь, пусть та,

кому ты подарил жизнь, сойдёт в могилу, веря, что она велика в твоих глазах. Твоя суровость заставила меня задуматься; и теперь, когда я так люблю тебя, мне кажется, что я менее виновен, чем ты думаешь. Выслушай моё оправдание, я в долгу перед тобой; и ты, для меня весь мир, должен мне хотя бы мгновение справедливости.

«Я на собственном опыте убедилась во всем, что причинила тебе страдания своим кокетством; но в те дни я была совершенно неведома любви. Ты знаешь, что такое пытка, и ты причиняешь ее мне! За те первые восемь месяцев, что ты мне посвятил, ты ни разу не пробудил во мне чувства любви. Спрашиваешь, почему так было, мой друг? Я не могу объяснить это так же, как не могу рассказать, почему я люблю тебя сейчас. О! Конечно, льстило моему тщеславию то, что я была предметом твоих страстных разговоров и получала твои обжигающие взгляды; но ты оставил меня холодной. Нет, я не была женщиной; у меня не было представления о женской преданности и счастье. Кто виноват? Ты бы презирал меня, не так ли, если бы я отдалась тебе без порыва страсти? Возможно, это высшая высота, до которой мы можем подняться — отдать все и не получить никакой радости; возможно, нет никакой заслуги в том, чтобы отдаться блаженству, которое предвидится и страстно желается. Увы, мой друг, я могу сказать следующее. Итак, эти мысли пришли ко мне, когда я играл с тобой; и ты уже тогда казалась мне такой замечательной, что я не хотел бы, чтобы ты была обязана этим даром жалости... Что же я написал?

«Я забрала все свои письма; я бросаю их одно в огонь; они сгорают. Вы никогда не узнаете, в чем они были исповеданы — во всей любви, страсти и безумии...»

«Больше ничего не скажу, Арман; я остановлюсь. Я не выскажу ни слова о своих чувствах. Если мои молитвы не отозвались в твоей душе, то и я, женщина, отказываюсь быть обязанной твоей любви из-за твоей жалости. Я хочу быть любимой, потому что ты не можешь выбирать, любить меня или остаться без милосердия. Если ты откажешься прочитать это письмо, оно будет сожжено». Если после прочтения этого письма вы не придете ко мне в течение трех часов, чтобы отныне навсегда стать моим мужем, единственным мужчиной в мире для меня, тогда я никогда не буду краснеть от мысли, что это письмо в ваших руках, гордость моего отчаяния защитит мою память от всякого оскорбления, и мой конец будет достоин моей любви. Когда вы больше не увидите меня на земле, хотя я еще буду жива, вы сами не сможете не содрогаться, думая о женщине, которая через три часа будет жить лишь для того, чтобы поразить вас своей нежностью; женщине, поглощенной безнадежной любовью и верной — не воспоминаниям о прошлых радостях, — а любви, которая была отвергнута.

«Герцогиня де ла Вальер оплакивала утраченное счастье и исчезнувшую власть; но герцогиня де Ланже будет счастлива, что может плакать и при этом оставаться для вас влиятельной фигурой. Да, вы пожалеете обо мне. Я ясно вижу, что я не от этого мира, и благодарю вас за то, что вы мне это объяснили».

«Прощайте; вы никогда не прикоснетесь к моему топору. Ваш топор был топором палача, мой — Божий; ваш убивает, мой спасает. Ваша любовь была смертна, она не могла вынести презрения или насмешек; моя же может выдержать все, не ослабевая, она будет длиться вечно. Ах! Я испытываю мрачную радость, сокрушая вас,

считающих себя такими великими; смиряя вас спокойной, снисходительной улыбкой одного из самых ничтожных ангелов, лежащих у ног Божьих, ибо им дано право и власть защищать и оберегать людей во имя Его. Вы испытывали лишь мимолетные желания, в то время как бедная монахиня будет излучать свет своей неустанной и пламенной молитвы о вас, она будет укрывать вас всю вашу жизнь под крыльями любви, в которой нет ничего земного».

«У меня есть предчувствие твоего ответа; место нашей встречи будет на небесах. И сила, и слабость могут войти туда, дорогой Арман; сильные и слабые обречены на страдания. Эта мысль успокаивает муку моего последнего испытания. Я так спокоен, что боялся бы, что перестал бы любить тебя, если бы не собирался покинуть этот мир ради тебя». «АНТУАНЕТТА».

«Дорогой Видам, — сказала герцогиня, когда они подошли к дому Монтриво, — окажите мне любезность и спросите у двери, дома ли он». Видам, повинуясь, как это было принято в XVIII веке, желанию женщины, вышел из дома и вернулся, чтобы дать кухне утвердительный ответ, от которого у нее по коже пробежала дрожь. Она крепко сжала его руку, позволила ему поцеловать ее в обе щеки и умоляла его немедленно уйти. Он не должен был следить за ее передвижениями и пытаться ее защитить. «Но люди, проходящие по улице, — возразил он.

«Никто не может меня подвести», — сказала она. Это были последние слова герцогини. и женщина моды.

Видама ушла. Мадам де Ланже закуталась в плащ и стояла на пороге, пока часы не пробили восемь. Последний удар затих. Несчастная женщина ждала десять, пятнадцать минут; до самого конца она пыталась найти в задержке новое унижение, но затем ее вера пошатнулась. Она повернулась, чтобы покинуть роковой порог.

«О, Боже!» — вырвался у неё невольный крик; это было первое слово, произнесённое кармелиткой.

Монтриво и несколько его друзей разговаривали. Он пытался поторопить их, но часы шли медленно, и к тому времени, как он отправился в отель де Ланже, герцогиня спешила пешком по улицам Парижа, движимая тупой яростью в сердце. Она дошла до бульвара д'Энфер и в последний раз сквозь льющиеся слезы посмотрела на шумный, задымленный город, лежащий внизу в красном тумане, освещенный собственными фонарями. Затем она остановила такси и уехала, чтобы больше никогда не возвращаться. Когда маркиз де Монтриво добрался до отеля де Ланже и не нашел там своей любовницы, он подумал, что его обманули. Он тут же поспешил в Видам и застал этого достойного джентльмена, надевающего свой цветочный халат и все это время думающего о счастье своей прекрасной кухни.

Монтриво одарил его одним из тех потрясающих взглядов, которые производили эффект электрического разряда как на мужчин, так и на женщин

. «Неужели вы стали жертвой какой-то жестокой мистификации, месье?» — воскликнул Монтриво. «Я только что был в доме мадам де Ланже; слуги говорят, что она...» .

«Значит, случилось великое несчастье, несомненно, — ответила Видама, — и по вашей вине. Я оставила герцогиню у ваших дверей...»

"Когда?"

«В без пятнадцати восемь».

«Добрый вечер», — ответил Монтриво и поспешил домой, чтобы спросить у носильщика, не... В тот вечер он увидел женщину, стоящую на пороге дома.

«Да, милорд маркиз, красивая женщина, которая, казалось, была очень расстроена. Она плакала, как Магдалина, но не издала ни звука и стояла прямо, как столб. Наконец она ушла, и мы с женой, которые наблюдали за ней, пока она нас не видела, услышали, как она сказала: «О, Боже!», и это так тронуло нас до глубины души, что мы просим прощения за эти слова».

Монтриво, несмотря на всю свою твердость, побледнел от этих нескольких слов. Он написал Ронкеролью несколько строк, тут же отправил сообщение и поднялся в свои покои. Ронкероль появился примерно в полночь.

Арман дал ему прочитать письмо герцогини.

«Ну и что?» — спросил Ронкероль.

«Она была у моей двери в восемь часов; в четверть восьмого она ушла. У меня есть Я потерял её, но люблю её. О! Если бы моя жизнь принадлежала мне, я бы покончил с собой, выстрелив себе в голову.

«Фу, фу! Сохраняйте спокойствие», — сказал Ронкероль. «Герцогини не улетаются, как трясгузки». Она не может двигаться быстрее трех лиг в час, а завтра мы поедем шесть. — Черт возьми! Мадам де Ланже — не обычная женщина, — продолжил он. — Завтра мы все сядем в кареты и поедем. Полиция выследит нас днем. У нее должна быть карета; у таких ангелов нет крыльев. Мы найдем ее, где бы она ни находилась — на дороге или спряталась в Париже. Есть семафор. Мы можем ее остановить. Вы будете довольны.

Но, мой дорогой, вы совершили ошибку, в которой люди с вашей энергией очень часто бывают виновны. Они судят других по себе и не знают, когда человеческая природа дает сбой, если слишком сильно натянуть веревки. Почему ты не сказал мне ни слова раньше? Я бы сказал тебе быть пунктуальным. До свидания до завтра, — добавил он, а Монтриво ничего не ответил. — Спи, если сможешь, — добавил он, пожимая руку.

Но все ресурсы, которые общество когда-либо предоставляло в распоряжение государственных деятелей, королей, министров, банкиров или любой другой человеческой силы, были, по сути, потрачены впустую. Ни Монтриво, ни его друзья не смогли найти никаких следов герцогини. Было ясно, что она ушла в монастырь. Монтриво решил искать, или организовать поиски, ее во всех монастырях мира. Он должен был найти ее, даже ценой жизни всего города. И в справедливости по отношению к этому необыкновенному человеку следует сказать, что его неистовая страсть ежедневно пробуждалась с той же силой и продолжалась в течение пяти лет. Только в 1829 году герцог Наваррийский случайно узнал, что его дочь уехала в

Испанию в качестве горничной леди Джулии Хопвуд, что она покинула службу в Кадисе и что леди Джулия так и не узнала, что мадам Каролина была той самой прославленной герцогиней, чье внезапное исчезновение потрясло высшее общество Парижа.

Теперь следует в полной мере понять чувства двух влюбленных, когда они снова встретились по разные стороны решетки в кармелитском монастыре, и, несомненно, сила страсти, пробудившейся в каждой из их душ, объяснит катастрофу этой истории.

В 1823 году герцог де Ланже умер, и его жена была свободна. Антуанетта де Наваррен жила, охваченная любовью, на скалистом выступе в Средиземном море; но в власти Папы Римского было расторгнуть обеты сестры Терезы. Счастье, подаренное такой сильной любовью, еще могло расцвести для двух влюбленных. Эти мысли заставили Монтриво лететь из Кадиса в Марсель, а затем из Марселя в Париж.

Через несколько месяцев после его возвращения во Францию торговый бриг, оборудованный и снабженный боеприпасами для активной службы, отплыл из порта Марселя в Испанию. Судно было зафрахтовано несколькими выдающимися людьми, большинство из которых были французами, которые, очарованные романтической страстью к Востоку, желали совершить путешествие в эти земли. Знание Монтриво восточных обычаев сделало его бесценным попутчиком, и по просьбе остальных он присоединился к экспедиции; министр войны назначил его генерал-лейтенантом и включил в состав артиллерийской комиссии, чтобы облегчить его отплытие.

Двадцать четыре часа спустя бриг стоял у северо-западного берега острова, в пределах видимости испанского побережья. Он был специально выбран из-за своего мелкого киля и лёгкой мачты, чтобы безопасно стоять на якоре в полулиге от рифов, препятствующих приближению к острову с этой стороны. Если бы рыболовецкие суда или жители острова увидели бриг, они вряд ли сразу заподозрили бы неладное; кроме того, причину его присутствия было легко объяснить без промедления. Монтриво поднял флаг Соединенных Штатов ещё до того, как они увидели остров, и весь экипаж судна состоял из американских моряков, говоривших только по-английски. Один из спутников г-на де Монтриво отвёз мужчин на берег в корабельной шлюпке и так напоил их в трактире в маленьком городке, что они не могли говорить. Затем он объявил, что на бриге находятся кладоискатели, банда людей, чьё хобби хорошо известно в Соединенных Штатах; Действительно, какой-то испанский писатель написал об их истории. Присутствие брига среди рифов теперь было достаточно объяснено. По словам самопровозглашенного помощника боцмана, владельцы судна искали обломки галеона, затонувшего в этих местах в 1778 году с грузом сокровищ из Мексики. Люди в гостинице и власти больше не задавали вопросов.

Арман и его преданные друзья, помогавшие ему в этом непростом начинании, с самого начала были уверены, что нет никакой надежды спасти или похитить сестру Терезу силой или хитростью из окрестностей маленького городка. Поэтому эти смельчаки единодушно решили взять быка за рога. Они собирались проложить путь к монастырю в самом, казалось бы, недоступном месте; подобно генералу Ламарку при штурме Капри, они собирались победить природу. Скала на краю острова, отвесная гранитная глыба, была еще менее устойчивой, чем скала Капри. Так казалось, по

крайней мере, Монтриво, который принимал участие в этом невероятном подвиге, в то время как монахини в его глазах были гораздо более грозными, чем сэр Хадсон Лоу. Поднимать шум по поводу похищения герцогини означало бы погрузиться в смятение. Они могли бы с таким же успехом осадить город и монастырь, как пираты, и не оставить ни единой души, которая могла бы рассказать о своей победе. Таким образом, для них их экспедиция имела лишь два аспекта. Предстояло либо устроить пожар и совершить подвиг, который потряс бы всю Европу, в то время как мотивы преступления оставались бы неизвестными; либо с другой стороны, таинственный спуск по воздуху должен был убедить монахинь в том, что их посетил сам дьявол.

На тайном совете, состоявшемся перед отъездом из Парижа, они выбрали второй вариант, и впоследствии было сделано все возможное, чтобы обеспечить успех экспедиции, которая обещала настоящее удовольствие пресыщенным душам, уставшим от Парижа и его удовольствий.

Чрезвычайно лёгкая пирога, изготовленная в Марселе по малайской модели, позволяла им пересекать риф, пока скалы не поднимались из воды. Затем между скалами на расстоянии нескольких футов друг от друга закреплялись два троса из железной проволоки. Эти тросы наклонялись вверх и вниз в противоположных направлениях, так что корзины с железной проволокой могли перемещаться вдоль них; таким образом, скалы были покрыты системой корзин и тросов, подобно нитям, которые плетёт определённый вид паука вокруг дерева. Китайцы, по сути своей подражательный народ, первыми переняли опыт инстинктивного мышления. Хрупкие, как эти мосты, они всегда были готовы к использованию; высокие волны и капризы моря не могли вывести их из строя; тросы свисали достаточно слабо, чтобы прибойная волна представляла собой ту самую кривую, открытую Кашеном, бессмертным создателем гавани в Шербуре. Против этой искусно выстроенной линии яростный натиск бессилён; закон этой кривой был тайной, вырванной из природы благодаря той наблюдательности, которой обладает почти весь человеческий гений. Состоит.

Спутники месье де Монтриво находились на борту судна одни, вне поля зрения всех людей. Никто с палубы проходящего мимо судна не смог бы обнаружить ни бриг, спрятанный среди рифов, ни рабочих, трудившихся среди скал; они находились вне зоны действия даже самого мощного телескопа. Одиннадцать дней ушло на подготовку, прежде чем «Тринадцать», со всей своей адской мощью, смогли достичь подножия скал. Скала поднималась прямо из моря на высоту тридцати саженей. Любая попытка взобраться на отвесную гранитную стену казалась невозможной; мышь с таким же успехом могла бы пытаться проползти по скользким стенкам простой фарфоровой вазы. И все же там была расщелина, прямая линия трещины, расположенная так удачно, что большие деревянные бруски можно было прочно закрепить в ней на расстоянии около фута друг от друга. В эти бруски отважные рабочие вбивали специально изготовленные для этой цели железные зажимы с широким железным кронштейном на внешнем конце, через который было просверлено отверстие. На каждом кронштейне крепилась легкая доска из сосны, которая соответствовала выемке, сделанной в шесте, достигающем вершины скал, и была прочно воткнута с изобретательностью, достойной этих людей, для которых не существовало ничего невозможного, один из них, опытный математик, рассчитал угол,

с которого должны начинаться ступени; так что от середины они постепенно поднимались, подобно стержням веера, к вершине скалы и таким же образом спускались к ее подножию. Эта чудесно легкая, но при этом совершенно прочная лестница стоила им двадцати двух дней труда. Немного труда и морской прибой уничтожили бы все следы ее за одну ночь. Раскрытие тайны было невозможно; и все поиски нарушителей монастыря были обречены на провал.

На вершине скалы находилась площадка, окруженная со всех сторон отвесными пропастями. Тринадцать, осматривая местность биноклями с мачты, убедились, что, несмотря на крутой и неровный подъем, добраться до монастырского сада не составит труда, поскольку деревья там были достаточно густыми, чтобы спрятаться. После стольких усилий они не хотели рисковать успехом своего предприятия и были вынуждены ждать, пока луна не выйдет из последней четверти.

Две ночи Монтриво, закутанный в плащ, лежал на скалистой площадке. Пение на вечерах и утрнях наполняло его невыразимой радостью. Он стоял под стеной, чтобы слышать музыку органа, внимательно прислушиваясь к одному голосу среди остальных. Но, несмотря на тишину, до его ушей доносилось лишь смутное воздействие музыки. В этих прекрасных гармониях теряются недостатки исполнения; чистый дух искусства вступает в прямое общение с духом слушателя, не требуя внимания, не напрягая способность слушать. Невыносимые воспоминания пробудились. Вся любовь внутри него, казалось, вновь расцветала при дыхании этой музыки; он пытался найти предзнаменования счастья в воздухе. В последнюю ночь он сидел, не отрывая глаз от незапертого окна, ведь решетки на краю обрыва не были нужны. Там все часы светил свет; и тот инстинкт сердца, который иногда верен, а так же часто ложен, кричал внутри него:

«Она там!» «Она точно там! Завтра она будет моей», — сказал он себе, и радость... звуки слились с медленным звоном колокола, который начал звенеть.

Странные, необъяснимые процессы в сердце! Монахиня, измученная тоской любви, истощённая слезами и постами, молитвами и бдениями; женщина двадцати девяти лет, прошедшая через тяжёлые испытания, была любима страстнее, чем беззаботная девушка, женщина двадцати четырёх лет, сальфида. Но разве нет чего-то привлекательного для мужчин с сильным характером в возвышенном выражении, запечатлённом на лицах женщин бурными порывами мыслей и непростыми несчастьями? Разве нет красоты страдания, которая является самой интересной из всех красот для тех мужчин, которые чувствуют, что в них таится неисчерпаемое богатство нежности и утешительной жалости к существу, столь милостивому в слабости, столь сильному любовью? Именно обычная натура привлекается юной, гладкой, розово-белой красотой, или, одним словом, очарованием. На некоторых лицах любовь пробуждается среди морщин, высеченных печалью, и разрушения, причиненного меланхолией; Монтриво не мог не чувствовать к ним влечения. Ибо разве не может влюбленный голосом великой тоски призвать совершенно новое существо? Существо, пульсирующее жизнью, только что зародившейся, вырывается только для него одного, из внешней формы, которая прекрасна для него и увяла для всего мира. Разве он не любит двух женщин? — Одна из них, как видят другие, бледна, измождена и печальна;

но другая, невидимая любовь, которую знает его сердце, — ангел, познающий жизнь через чувства и украшенный во всей своей красе только для высоких праздников любви.

Генерал покинул свой пост до рассвета, но не раньше, чем услышал, как из камеры доносятся нежные, полные нежности голоса, сливающиеся между собой. Спустившись к подножию скал, где его ждали друзья, он сказал им, что никогда в жизни не испытывал такого пленительного блаженства, и в этих нескольких словах чувствовался тот безошибочный трепет подавленных сильных чувств, то величественное высказывание, которое уважают все люди.

В ту ночь одиннадцать его преданных товарищей совершили восхождение в темноте. Каждый нес кинжал, запас шоколада и набор инструментов для взлома домов. Они взбирались по внешним стенам с помощью альпинистских лестниц и пересекали кладбище монастыря. Монтриво узнал длинную сводчатую галерею, через которую он попал в гостиную, и вспомнил окна комнаты. Его планы были составлены и приняты в одно мгновение. Они проникали через одно из окон в гостиную, принадлежащую кармелиткам, пробирались по коридорам и выясняли, как зовут сестру. Надпись на дверях гласила: найти камеру сестры Терезы, застать ее врасплох во сне и унести связанной и с кляпом во рту. Эта программа не представляла никаких трудностей для мужчин, сочетавших смелость и ловкость каторжника со знаниями, свойственными людям этого мира, тем более что они не побоялись бы нанести удар ножом, чтобы обеспечить тишину.

Через два часа решетки были распилены. Трое мужчин стояли на страже снаружи, двое — внутри гостиной. Остальные, босиком, заняли свои посты вдоль коридора. Молодой Анри де Марсе, самый ловкий из них, на всякий случай переодетый в кармелитскую рясу, точно такую же, как в монастыре, шел впереди, а Монтриво следовал за ним. Часы пробили три, как раз когда двое мужчин достигли келий. Вскоре они увидели расположение. Вокруг царил полная тишина. С помощью темного фонаря они прочитали имена, по счастливой случайности написанные на каждой двери, вместе с изображением святого или святых и мистическими словами, которые каждая монахиня принимает как своего рода девиз для начала своей новой жизни и откровения своей последней мысли. Монтриво подошел к двери сестры Терезы и прочитал надпись: *Sub invocatione sanctae matris Theresae*, и ее девиз: *Adoremus in aeternum*. Внезапно его спутник положил руку ему на плечо. Сквозь щели в двери лился яркий свет. В этот момент подошел господин де Ронкероль.

«Все монахини в церкви, — сказал он, — они начинают проводить заупокойную службу».

«Я останусь здесь, — сказал Монтриво. — Вернись в гостиную и закрой дверь».

конец отрывка.

Он распахнул дверь и ворвался внутрь, впереди него шел его переодетый спутник, который впустил его. вуаль сползла с его лица.

Перед ними лежала мертвая герцогиня; ее дощатая кровать была положена на пол внешней комнаты ее камеры, между двумя зажженными свечами. Ни Монтриво, ни де

Марсей не произнесли ни слова и не издали ни крика; они смотрели друг другу в лица. Немой жест генерала словно говорил: «Давайте унесем ее!»

«Быстрее!» — крикнул Ронкероль, — «процессия монахинь покидает церковь. Вас поймают!»

С магической быстротой движений, движимая сильным желанием, тело мертвой женщины внесли в гостиную монастыря, пронесли через окно и спустили со стен, после чего аббатиса, а затем и монахини вернулись, чтобы забрать тело сестры Терезы. Сестра, оставшаяся ответственной за обустройство, неосмотрительно покинула свой пост; у нее были тайны, которые она жаждала узнать; и она так усердно обыскивала внутреннюю комнату, что ничего не слышала и с ужасом обнаружила, что тела нет. Прежде чем женщины, в своем изумлении, успели подумать о поиске, герцогиню спустили на веревке к подножию скал, а спутники Монтриво уничтожили все следы своей работы. К девяти часам утра не осталось и следа от лестницы или тросов, и тело сестры Терезы было поднято на борт. Бриг пришел в порт, чтобы отправить ее команду, и отплыл в тот же день.

Монтриво, оставшись в каюте, остался наедине с Антуанеттой де Наваррен. Несколько часов ему казалось, что ее безжизненное лицо преобразилось для него благодаря той неземной красоте, которую спокойствие смерти дарит телу перед смертью.

«Послушай, — сказал Ронкероль, когда Монтриво снова появился на палубе, — это когда-то была женщина, а теперь от неё ничего не осталось. Привяжем пушечное ядро к обеим ногам и выбросим тело за борт; и если ты когда-нибудь снова вспомнишь о ней, вспомни её как героиню какой-нибудь книги, которую ты читал в детстве».

«Да, — согласился Монтриво, — теперь это всего лишь сон».

«Это разумно с вашей стороны. Теперь, после всего этого, у вас есть страсти; но что касается любви, мужчина должен уметь распоряжаться ею мудро; только последняя любовь женщины может удовлетворить первую любовь мужчины».

This Job is only found within OFF POST OFFICES

This Job is only found within OFF POST OFFICES

This Job is only found within OFF POST OFFICES

This Job is only found within OFF POST OFFICES

